

Жизнь и молитва — одно³⁰¹

Жизнь и молитва совершенно нераздельны. Жизнь без молитвы — это жизнь, в которой отсутствует важнейшее ее измерение, это жизнь «в плоскости», без глубины, жизнь в двух измерениях пространства и времени, это жизнь, довольствующаяся видимым, довольствующаяся нашим ближним, но ближним как явлением в физическом плане, ближним, в котором мы не обнаруживаем всей безмерности и вечности его судьбы. Значение молитвы состоит в том, чтобы раскрывать и утверждать самой жизнью тот факт, что все имеет меру вечности и все имеет измерение безмерности. Мир, в котором мы живем, — не безбожный мир: его профанируем мы сами, но в существе своем он вышел из рук Божиих, он любим Богом. Цена его в глазах Божиих — это жизнь и смерть Его Единородного Сына, и молитва свидетельствует, что мы знаем это — знаем, что каждый человек и каждая вещь вокруг нас священны в очах Божиих: любимые Им, они становятся дороги и для нас. Не молиться — значит оставлять Бога за пределами всего существующего, и не только Его, но и все, что Он значит для созданного Им мира, того мира, в котором мы живем.

Нам часто кажется, что трудно согласовать жизнь и молитву. Это заблуждение, совершеннейшее заблуждение. Происходит оно оттого, что у нас ложное представление и о жизни, и о молитве. Мы воображаем, будто жизнь состоит в том, чтобы суетиться, а молитва — в том, чтобы куда-то уединиться и забыть все и о ближнем, и о нашем человеческом положении. И это неверно. Это клевета на жизнь и клевета на самую молитву.

Чтобы научиться молитве, надо прежде всего сделаться солидарным со всей реальностью человека, всей реальностью его судьбы и судьбы всего мира: до конца принять ее на себя. В этом — сущность акта, совершенного Богом в Воплощении. В этом вся полнота того, что мы называем предстательством. Обычно мы воспринимаем молитвенное предстательство как вежливое напоминание Богу о том, что Он забыл сделать. В действительности же оно заключается в том, чтобы сделать шаг, ставящий нас в самый центр трагической ситуации, шаг, подобный шагу Христа, Который сделался человеком раз и навсегда. Мы должны сделать шаг, который поставит нас в центр ситуации, откуда никогда больше мы не сможем выйти; солидарность христианская, Христова направлена одновременно к двум противоположным полюсам: воплотившийся Христос, истинный человек и истинный Бог, до конца солидарен с человеком, когда человек в своем грехе обращается к Богу, и до конца солидарен с Богом, когда Он обращается к человеку. Эта двойная солидарность делает нас в каком-то смысле чуждыми обоим лагерям и в то же время едиными с обоими лагерями. В этом основа положения христианина.

Вы скажете: «Что же делать?» Так вот, молитва рождается из двух источников: либо это наше восторженное изумление перед Богом и делами Божиими — нашим ближним и окружающим нас миром, несмотря на его тени, либо это чувство трагичности — нашей и особенно чужой. Бердяев сказал: «Когда я голоден, это явление физическое; когда голоден мой сосед, это явление нравственное». И вот трагичность, которая предстает перед нами в каждое мгновение: мой сосед всегда голоден, это не всегда голод по хлебу, иногда это голод по человеческому жесту, ласковому взгляду. Здесь-то и начинается молитва — в этой отзывчивости на изумительное и на трагичное. Пока есть эта отзывчивость, все легко: в восторге нам легко молиться и легко молиться, когда нас пронзает чувство трагизма.

Ну а в другое время? Так вот, и в другое время молитва и жизнь должны быть одно. У меня нет времени говорить об этом много, но я хотел бы просто сказать вот что: встаньте утром, поставьте себя перед Богом и скажите: «Господи, благослови меня и благослови этот начинающийся день», а потом относитесь ко всему этому дню как к дару Божию и смотрите на себя как на посланца Божия в этом неизвестном, что представляет собой начинающийся день. Это означает попросту нечто очень трудное, а именно: что бы ни случилось за этот день — ничто не чуждо воле Божией, все без исключения — обстоятельства, в которые Господь вас пожелал поставить, чтобы вы были Его присутствием, Его любовью, Его состраданием, Его творческим разумом, Его мужеством. И кроме того, всякий раз, когда вы встречаетесь с той или иной ситуацией, вы — тот, кого Бог туда поставил, чтобы нести служение христианина, быть частицей Тела Христова и действием Божиим. Если вы будете так поступать, то легко увидите, что в каждое мгновение вам придется поворачиваться к Богу и говорить: «Господи, просвети мой ум, укрепи и направь мою волю, дай мне сердце пламенное, помоги мне!» В другие моменты вы сможете сказать: «Господи, спасибо!» И если вы разумны и умеете благодарить, вы избежите глупости, которая называется тщеславием или гордостью, состоящей в том, что мы воображаем, будто совершили что-то, чего могли бы и не делать. Это сделал Бог. Бог подарил нам замечательную возможность сделать это. И когда вечером вы снова станете перед Богом и быстро переберете в памяти прошедший день, вы сможете восхвалять Бога, славить Его, благодарить Его, плакать о других и плакать о себе. Если вы начнете таким образом соединять жизнь с вашей молитвой, между ними никогда не будет разрыва и жизнь станет горячим, питающим в каждое мгновение огонь, который будет разгораться все больше и становиться все ярче и преобразит постепенно вас самих в ту горящую купину, о которой говорит Писание (Исх 3:2).

Молитва и деятельность³⁰²

Для меня радость — свидетельствовать о том, что волнует меня до глубины сердца, о том, что производит ослепительно яркое впечатление, порой мимолетно, порой — навсегда, в контексте, в ситуациях нашей жизни. Свидетельствовать о том, *что видели наши очи, что осязали наши руки, что слышали наши уши* (1 Ин 1:1), свидетельствовать о том, что просветило наш разум, углубило наше сердце, направило нашу волю, достигло самого тела нашего, так что оно стало более восприимчиво к благодати.

Я буду говорить о молитве и о деятельности, но особенно хотел бы остановиться на молитве, или, вернее, на многосложном сочетании молитвы и деятельности, которое непрерывно выражается и плодотворным размышлением, и жизнью, питаемой углубленной мыслью, и максимальной трезвостью в ситуациях нашей жизни.

Я хотел бы для начала сказать несколько слов о связи молитвы с жизнью не вообще, а с более непосредственной точки зрения. Слишком часто жизнь, которую мы ведем, встает свидетельством против нашей молитвы, и только если мы сумеем привести в гармонию слова нашей молитвы и то, как мы живем, молитва наполнится силой, светом, которых мы от нее ожидаем, станет действенной.

Слишком часто мы обращаемся к Богу в надежде, что *Он* сделает то, что *мы* должны были сделать в Его имя и ради Него. Слишком часто наши молитвы подобны вежливым речам, отшлифованным от долгого употребления, мы их приносим Господу изо дня в день, будто достаточно повторять Ему холодным сердцем, ленивым умом, без всякого участия нашей воли огненные слова, которые родились в пустыне, в одиночестве, в предельном человеческом страдании, в самых напряженных ситуациях, какие когда-либо знала история.

Мы повторяем молитвы, которые носят имена великих духовных подвижников, и думаем, что Бог их слушает, что Он принимает во внимание их содержание, тогда как единственное, что важно для Бога, — это сердце того, кто произносит эти слова, воля говорящего, устремленная к исполнению Его воли.

Мы взываем: *не введи нас во искушение*, и тут же бодро, полные жадного любопытства, устремляемся туда, где нас подстерегает искушение. Или мы произносим: *Готово сердце мое, Боже!* (Пс 56:8). К чему оно готово? Если бы Господь поставил нам этот вопрос вечером, когда перед сном мы произнесли эти слова, не пришлось бы нам порой ответить: «Дочитать главу детективного романа»? Это единственное, к чему сейчас готово наше сердце. И так часто наши молитвы — мертвая буква, более того, буква *мертвящая*, потому что всякий раз, как мы допускаем, чтобы молитва наша была мертва, чтобы она не живила нас, чтобы присущий ей накал не пронизал нас, мы все меньше отзываемся на ее требования, на ее воздействие и становимся все менее способны воплощать в жизнь те молитвенные слова, которые произносим.

Это проблема, которую каждый из нас должен разрешить в своей жизни. Все выражения нашей молитвы должны стать жизненными правилами. Если мы сказали Богу, что просим Его помощи против искушений, мы должны всем устремлением души, всеми своими силами избегать всякого случая попасть в искушение. Если мы сказали Богу, что нам надрыгает сердце мысль о том, что такой-то человек в голоде, в жажде, в одиночестве, мы должны услышать, как голос Божий нам отвечает: *кого Мне послать?* — и встать перед Ним и сказать: *Вот я, Господи!* (Ис 6:8) — и действовать *немедленно*. Никогда нельзя допустить, позволить, чтобы промедление, посторонняя мысль проникла в наше доброе намерение, вклинилась между указанием Божиим и нашим поступком, потому что мысль, проскользнувшая, словно змея, немедленно предложит: «Погоди!» или: «А так ли уж необходимо это сделать?», «Нет ли у Бога кого-то другого, более пригодного для этого дела?» И пока мы изворачиваемся в уловках, энергия, которую мы получили от молитвы и ответа свыше, угаснет в нас.

Это очень существенно. Очень важна связь, которую мы должны установить между жизнью и молитвой сами, актом воли, который совершаем *мы*. Он не возникнет сам собой, но он может до глубины изменить нашу жизнь. Читайте молитвы, которые нам предлагаются молитвословом, утренние и вечерние молитвы. Выберите какую-нибудь молитву и сделайте ее программой жизни, и вы увидите, что эта молитва никогда не наскучит, никогда не потускнеет, потому что изо дня в день она будет оттачиваться, сама жизнь будет придавать ей остроту. Если вы утром попросили Господа защитить вас от такой-то нужды, такого-то искушения, такой-то проблемы и сами будете бороться как должно, изо всех своих человеческих возможностей, в меру своей человеческой слабости, исполнившись, как парус ветром, дуновением силы Божественной, то к вечеру у вас накопится многое, чем поделиться с Богом. Вы сможете благодарить Его за поданную помощь, вам придется каяться в том, как вы этой помощью распорядились, вы сможете радостно воспевать Его за то, что Он даровал вам исполнять вашими слабыми, хрупкими руками, слабыми человеческими руками Его волю, быть Его зрячим взором, Его внимательным слухом, Его присутствием, Его любовью, Его воплощенным состраданием, живым, творческим. Всего этого никто не может сделать за каждого из нас, иначе жизнь и молитва разойдутся. Какое-то время жизнь идет как шла, а молитва продолжает журчать все менее внятно, все меньше тревожит нашу совесть, ее напор слабеет. И поскольку жизнь настойчиво предъявляет свои требования, а молитва исходит от Бога — Бога кроткого, Бога любящего, Который нас зовет и никогда не навязывается насильно, — то умирает молитва. И тогда мы, чтобы утешиться, говорим, что теперь мы воплотили свою молитву в жизнь и наша деятельность теперь является нашей молитвой.

Мы не так относимся к нашим друзьям, к нашим родным, к тем, кого мы любим. Разумеется, мы делаем для них все, что должны делать, но разве из этого следует, что мы забываем их сердцем, что никогда не думаем о них? Конечно же нет! И неужели только Бог удостоивается нашего служения, но никогда мы не взглянем в Его сторону, наше сердце не загорается любовью, когда мы слышим Его имя? Неужели только Богу мы служим с безразличием? Вот повод чему-то научиться и сделать какие-то выводы.

Есть и еще один аспект молитвы, связанной с жизнью: это включение молитвы в самую жизнь. Мы в каждую минуту сталкиваемся с ситуациями, которые превосходят наши силы. Если бы только мы подходили к этим ситуациям с молитвой, то из часа в час, изо дня в день у нас было бы более чем достаточно случаев к тому, чтобы наша молитва стала постоянной и не прекращалась. Всегда ли мы помним, что наше человеческое призвание превосходит любые человеческие силы? Ведь мы призваны быть живыми членами Тела Христова, быть в каком-то смысле, все вместе, но и каждый по отдельности, продолжением воплощенного присутствия Христа в наши дни. Мы призваны быть храмами Святого Духа. Наше призвание — быть в Единородном Сыне всецелым Христом, мы призваны стать причастниками Божественной природы (2 Пет 1:4). Вот каково наше человеческое призвание в самой своей сущности. И кроме того, это призвание охватывает все, что покрывает воля и действие Божии. Мы призваны быть присутствием Бога Живого во всем созданном Им мире. Разве мы могли бы сделать хоть что-то в этом отношении, если Сам Бог не действовал бы в нас и через нас? Разумеется, нет. Как могли бы мы стать живыми членами Тела Христова? Как мы могли бы принять Духа Святого, стать храмом, где Он обитает, и не быть опаленными этим Божественным огнем? Каким образом мы могли бы действительно приобщиться Божественной природе? И каким образом мы, грешные люди, могли бы совершать дело милосердия, дело Божественной любви, как мы к тому призваны? Неужели это не основание для постоянной молитвы? Она должна расти, становиться все более требовательной, так чтобы мы были привиты к живородящей лозе. Разве в нас есть жизнь, разве мы можем принести какой-то плод, разве мы на что-то способны? Так что очевидно: если мы хотим, чтобы наша молитва не разошлась с жизнью, чтобы наша молитва не потеряла постепенно силу под натиском трудной, жестокой жизни, под нападками *князя мира сего* (Ин 12:31), мы должны влить нашу молитву во все, что составляет нашу жизнь, мы должны бросить ее словно горсть дрожжей в тесто нашей жизни во всем ее объеме.

Если, проснувшись утром, мы бы предстали перед Богом со словами: «Господи, благослови меня и благослови этот начинающийся день!», и потом осознали, что вступаем в новый день творения, в день, которого никогда прежде не было, в день, который расцветает как неизведанная, бесконечно глубокая возможность! Если бы с помощью Божией мы осознали, что вступаем в этот день, чтобы совершать в нем служение христиан в силе и в славе, которые подразумеваются этим званием, как уважительно, как вдумчиво, с какой трепетной радостью, и с какой надеждой, и с какой ласковой любовью мы встречали бы постепенно разворачивающийся перед нами день! Из часа в час мы принимали бы его как дар Божий, каждое встающее перед нами обстоятельство мы принимали бы как от руки Божией, ни одна встреча не была бы случайна, каждый человек на нашем пути, каждое обращение к нам было бы призывом отозваться не так, как мы порой отзываемся только на человеческом уровне, а отозваться со всей глубиной того *сокровенного сердца человека* (1 Пет 3:4), в самых глубинах которого — все Царство Божие и Сам Бог. И на протяжении этого дня нас не оставляло бы благоговейное чувство, что мы идем через него вместе с Господом. Каждый миг мы оказывались бы в ситуациях, где требуется мудрость, — и нам пришлось бы просить о ней, где требуется сила, — и мы обращались бы к Господу за силой, где требуется прощение свыше, — потому что мы поступили неверно, или в ситуациях, которые вызывают в нас порыв благодарности,

потому что, несмотря на нашу слепоту, нашу холодность, нам было дано поступить так, как мы ни за что не могли бы поступить только собственными силами. Примеров можно бы привести множество; ясно, о чем я говорю. И тогда мы поймем, что жизнь никогда не мешает нам молиться, никогда! — потому что жизнь и есть то живое вещество, куда мы бросаем живительную горсть дрожжей — нашу молитву, наше присутствие, в той мере, в какой мы сами пребываем в Боге и Бог в нас, или, по крайней мере, стремимся к Нему и Он снисходит к нам.

Очень часто мы могли бы так поступать, но нам мешают две вещи. Первое — то, что мы не привыкли к молитвенному усилию. Если не делать постоянно этого усилия, если мы не готовы постепенно делать все более неослабевающие усилия, все более постоянные, все более продолжительные, то через короткий срок наша духовная энергия, наша умственная энергия, наша способность собрать внимание, как и наша способность отзываться всем сердцем на возникающие перед нами события и людей, станет замирать. С другой стороны, в этом научении постоянной молитве, питаемой жизнью, надо действовать с трезвостью, которую нам заповедуют Отцы: надо продвигаться шаг за шагом, помнить, что наряду с подвигом усилия существует дисциплина отдыха, есть мудрое отношение к телу, к сознанию и к воле и что нельзя без перерыва и изо всех сил стремиться к одной цели.

Возможно, вы помните эпизод из жизни святого Иоанна Богослова. Рассказывается, что один охотник услышал, что возлюбленный ученик Христов живет в горах близ Эфеса, и отправился в путь, чтобы посетить его. Он дошел до поляны и увидел старого человека, который на четвереньках играл среди зеленой травы с цесаркой. Охотник подошел и спросил, слышал ли старик об Иоанне и где его найти. Старик ответил: «Это я». Охотник рассмеялся ему в лицо: «Ты-то Иоанн! Не может того быть! Он, написавший такие дивные послания, станет забавляться с птичкой!» И старец сказал ему в ответ: «Я вижу, что ты охотник. Когда ты идешь по лесу, разве ты все время держишь натянутый лук и стрелу наготове на случай, что внезапно увидишь зверя?» Охотник снова рассмеялся и сказал: «Я же знал, что ты ненормальный. Кто же так ходит по лесу? Если лук держать все время натянутым, тетива лопнет в тот момент, когда она мне понадобится!» — «Так и я, — ответил Иоанн. — Если бы я непрерывно напрягал все силы души и тела, то в момент, когда Бог приблизится, я надорвался бы от усилия, которое больше не могу выдержать». Надо уметь трезво, мудро давать себе отдых, необходимый для того, чтобы действовать со всем напором, всей силой — не только собственной, но и той, что нам дается благодатью свыше. Потому что благодать посылается нам в хрупкий сосуд нашего тела, в хрупкость нашего разума, нашего сердца, нашей воли.

Тут встают разнообразные трудности, в частности маловерие. Кто бы мы ни были, чем бы ни занимались, в нас часто возникает момент сомнения, недостаток глубокой веры. Мы говорим часто: «Заступническая молитва, просительная молитва — более низкий род молитвы. Молитва монаха, молитва христианина, который достиг какой-то зрелости, — молитва благодарения и хвалы». Разумеется, конечная цель и итог таков. После долгой жизни в духовном и телесном подвиге, когда мы настолько отрешились от всего, что готовы все принимать от руки Божией как драгоценный дар, остается только благодарить Его и петь Ему хвалу. Но достигли ли мы этого уровня? Разве не легче благодарить Господа или воспевать Его, особенно в моменты, когда наше сердце загорается от прикосновения благодати? Разве не легче благодарить Его или петь *после*, чем с верой просить об исполнении какого-то прошения? Очень часто люди, вполне способные воспевать и благодарить Господа, не способны совершить акт всецелой веры недвоящимся сердцем, неколеблющимся умом, волей, всецело устремленной к Нему, потому что закрадывается сомнение: «А вдруг Он не отзовется?» Не проще ли сказать:

«Да будет воля Твоя!» И тогда все в порядке, потому что воля Божия будет исполнена в любом случае, и я останусь в пределах этой Божественной воли. И, однако, так часто, так постоянно от нас требуется другое, именно по отношению к деятельной жизни в том смысле, как это слово понимается на Западе, жизни, обращенной к ситуациям, которые вне нас. Болезнь поразила дорогого нам человека, голод поразила целую страну. Мы хотели бы обратиться к Богу за помощью, и очень часто мы трусливо просим этой помощи так, чтобы в случае любого исхода наша молитва могла быть отнесена к данной ситуации. Мы находим как выразиться, находим выход: в конечном итоге воля Божия совершится и мы будем удовлетворены, но проявили ли мы веру? Здесь проблема для всех тех, кто погружен в деятельность и верит в эффективность молитвы и эффективность «бездействия».

Если мы хотим действовать заодно с Богом, мало предоставить Ему действовать свободно, сказав: «Господи, в любом случае Ты сделаешь по-своему, так и поступай, я не буду Тебе мешать». Надо учиться различать волю Божию, надо войти в судьбы Божии, но помнить и то, что порой судьбы Божии бывают сокровенны. Вспомните хананеянку (Мк 7:24—30). Очевидность бросалась в глаза, поражала слух: ей дан отказ, и, однако, сила ее веры и духовная чуткость уловили что-то другое, и она сумела проявить настойчивость как бы вопреки воле Божией, на самом же деле в согласии с реальной волей Спасителя. Надо уметь глядеть, надо искать незримый след Божий. Господь действует, будто тклет ковер, только, как много раз указывалось, мы видим изнанку, лицевая сторона обращена к Богу. И проблема жизни, проблема того видения, которое приведет нашу молитву не в противоречие с волей Божией, а в гармонию с ней, состоит в том, чтобы суметь взглянуться достаточно долго в эту изнаночную сторону, чтобы прозреть ее лицевую сторону, то, каким образом Бог выстраивает историю, направляет жизнь, углубляет ситуацию, создает связи, и действовать не против Него, не независимо от Него, а вместе с Ним и дать Ему действовать, позволить Ему действовать с нами и в нас. Но в таком случае деятельность и созерцание неразрывно связаны, разве что мы признаем лишь десакрализованную деятельность, действие, в котором Бога нет, действие, ограниченное человеческим кругозором и опирающееся на наши, чисто человеческие, усилия. Но это не христианская деятельность и не христианская молитва. В сердцевине положения человека дела, который стремится, чтобы его деятельность была продолжением дела Божия, чтобы деятельность Церкви и его собственная, как живого члена всецелого Христа, чем является Церковь (Кол 1:24), была действием Христа, действием Бога Живого, словом Бога Живого, должно лежать такого рода созерцание, такой образ созерцания, который открывал бы нам подлинную волю Божию. Вне этого всякое наше действие будет случайным поступком.

Но в чем состоит это созерцание? Это постоянное, неизменное состояние христианина, где бы он ни находился, принадлежит ли он к монашескому созерцательному ордену или он простой мирянин, несущий двойную ответственность: он ответствен перед Богом и в силу этого всецело ответствен по отношению к тварному миру, миру людей и предметов. Это созерцание прежде всего — твердый, внимательный взгляд, ясное сознание, которое относится к предметам, к людям, к событиям, к их статичной реальности, как и к их динамике. Этот взгляд полностью погружается в то, что видит, это слух, напряженно готовый услышать все, что бы ни прозвучало извне. Чтобы достичь этого, необходим целый путь подвига, потому что для того, чтобы суметь увидеть и услышать, надо уметь отрывать себя от себя. Пока мы сосредоточены лишь на себе самих, мы видим в том, что нас окружает, либо только собственное отражение, либо в мутных или беспокойных водах нашего сознания видим отражение того, что вокруг нас. Чтобы услышать, надо уметь молчать; надо долго вглядываться, пока не убедишься в том, что видишь. Надо одновременно освободиться от себя и предаться Богу и предмету созерцания. Только

тогда мы сможем видеть вещи в их объективной реальности. Только тогда мы сможем поставить главный вопрос: какова воля Божия в этой *реальности*, которая предстала нам? Нереальный мир, в котором мы все время находимся, создан нашим воображением, по лености ума, по эгоизму, потому что мы считаем себя центром вещей — в то время как мы настолько второстепенны! В этом нереальном мире Бог ничего не может сделать, просто потому что этот мир не существует. Ни в каком мире нереальности Бог не может действовать, но в мире реальном Он хозяин. И самая неприглядная, самая уродливая, самая отвратительная, самая чуждая Царства Божия данность может превратиться в Царство, при условии, что мы ей вернем ее реальность. Мираж невозможно преобразить, но грешник может стать святым. Мне кажется, очень важно стремиться к такого рода созерцанию, которое имеет всеобъемлющее значение, которое не связано ни с какой нашей ролью в жизни. Оно является просто внимательным, вдумчивым поиском через молитву, через молчание, через углубленное видение вещей так, как их видит Бог. Кто-то сказал, что молитва начинается тогда, когда говорит Бог. Вот цель, к которой мы должны устремляться. Такое созерцание — не исключительно христианское явление, оно принадлежит всем. Нет человеческого разума, который не был бы устремлен таким образом к внешней реальности. Разница между нами и атеистом — тем, кто верит лишь в то, что его окружает, и не видит в вещах никакой глубины вечности, безмерности, их взаимосвязи с Богом, — единственная разница та, что он наблюдает явления, а мы прислушиваемся к голосу Божию, который дает нам ключ к их пониманию. Это немного, но в этом все. Потому что, если мы таким образом приобретаем *ум Христов* (1 Кор 2:16), если мы под тем же неустаревающим руководством, как и апостолы, если нами руководит Святой Дух, Который подсказывает нам, куда идти, что сделать, что сказать или когда промолчать, мы просто-напросто занимаем свое положение христиан, вот и все.

Разумеется, в христианском опыте, воплощенном в жизнь, есть созерцательный аспект в техническом смысле слова, так называемое созерцательное монашество. Тут большая проблема. Созерцательное монашество подвергается большим нападкам, но так ли эти нападки несправедливы, как считают сами созерцательные ордена? Говорится о правдоподобии, убедительности (или неправдоподобии, неубедительности) того, что доносит до нас христианская жизнь, структуры и историческое положение Церкви. Было время, когда чувство созерцания, чувство священного, чувство Бога Живого, не только присутствующего, но трансцендентного, было очень сильно и христианское общество могло видеть, как некоторые его члены живут только созерцанием, созерцательной молитвой, молчанием, Божественным присутствием, и все это — часть делания всей Церкви. Не то теперь. Верующие в целом не всегда солидарны с этим стремлением к радикальному созерцанию, и нам следует посмотреть в лицо этой проблеме и искать ее разрешение, не только воспитывая христиан. Мы должны сами осознать, какую проблему мы для них создаем, проблему тем более трудную, что созерцательные ордена могут существовать лишь потому, что есть деятельные люди. Так или иначе, но посвятившие жизнь созерцанию живут милосердием тех, кто созерцанием не занимается. И когда подавляющее большинство, трудящееся в поте лица, совершенно не воспринимает, что данная группа является выразительницей их общей жизни, а не собственной ограниченной и частной жизни, ей отказывают в сочувствии и в поддержке. Мне кажется, это очень важно, потому что наш мир как будто очень легко принимает, например, созерцательную жизнь индийских аскетов. Он охотно соглашается с общественно бесполезной жизнью художника, он легко признает людей, которые выходят из общества, уходят от общей массы, — все это при условии, что эти люди готовы платить за свою отделенность. Например, аскеты-индусы убедительны тем, что ведут очень суровую жизнь в тех условиях, которые сами же и создали для себя. Христианские созерцательные ордена³⁰³ часто неубедительны, потому что хотят заниматься созерцанием, но также иметь пищу и тепло, крышу над головой и сад и еще множество вещей. И все это должны обеспечить

люди, которые лишены удобства созерцательной жизни. В этом подлинная проблема для совести именно христиан, а не внешнего мира. Подумайте о тех обетах, часто иллюзорных, которые мы приносим. Мы оставляем семью, отца, мать, родных и создаем себе другую семью, гораздо более надежную, поскольку она не вымирает. Отцы, матери, братья, даже дети могут умереть прежде вас. Ваш орден умрет только после вас, разве что вы же его и разрушите. Мы даем обет нестяжания; разумеется, у нас нет личных доходов, но одного нам недостает: мы никогда не сталкиваемся с необеспеченностью, неуверенностью наемного рабочего. Потому что главная его проблема не в недостатке денег, неимении одежды, главное — радикальное отсутствие обеспеченности, в которой можешь оказаться, потому что не знаешь, что с тобой будет завтра. Я мог бы упомянуть еще многие черты созерцательной жизни, из которых станет ясно, что к такой жизни стремится больше людей, чем мы воображаем. Они понимают созерцание, часто живут им, молятся глубоко, слышат голос Бога Живого, следуют Его заповедям, они живут не только хлебом, но всяким словом Божиим (Мф 4:4), и им непонятно, почему целые человеческие группы, как бы «специалисты созерцания», не несут ответственности за свои обеты, — расплачиваются за них другие.

И наконец, я хотел бы обратить ваше внимание на еще другой аспект созерцания. Когда мы говорим о созерцании, мы склонны думать только о монахах или о тех, кто занимается созерцанием, принадлежа к нехристианским религиям. Мы недостаточно осознаем, насколько созерцание присутствует, развито в мире, среди людей, которые, оказавшись перед лицом современности, совершенно естественным образом ставят себе основоположные вопросы, не довольствуясь тем, что просто наблюдают ход событий, чтобы суметь справиться с проблемами. Посмотрите на современную молодежь, да и на людей постарше, даже тех, кто не является членом Церкви: с каким вниманием, с какой глубиной, с каким острым прозрением мысли порой они ищут. Они ставят себе вопросы о Боге, о человеке, об окружающем материальном мире. Иногда они обращаются к нам в надежде получить ответ, не просто штамп, лозунг, а исполненный жизни ответ на проблему, перед которой они стоят. Они умеют смотреть, слушать, умеют выделить самую суть ситуации, но чего они не умеют — связать их воедино, чем они не владеют — ключом, который позволил бы им расшифровать, прочесть безумие домостроительства Спасения, волю Божию, действующую, глубокую, всецелую волю Бога Живого, до конца ответственно участвующую в истории мира. Мы должны бы быть в состоянии дать этот ответ, но в такое ли созерцание мы погружены? Бог постоянно являет Себя в Ветхом и Новом Завете, но нас снова и снова могли бы поражать новые аспекты этого откровения. Достаточно ли мы внимательны к этому? В этом отношении русский опыт поучительный. До революции русские люди в большинстве своем знали Бога величественных соборов и «господствующей» Церкви. Когда они оказались лишены всего, когда в полной нищете у них остался только Бог, многие открыли для себя Бога, так сказать, подонков, Бога, Который принял на Себя — и не на время, а навсегда — полную, безграничную солидарность не только с теми, кто всего лишился, но и с теми, кто, по человеческому суждению, был бы выброшен из Царства Божия.

Этот Бог уязвимый, беззащитный, как будто побежденный и потому презираемый, этот Бог, Который не стыдится нас, потому что Сам стал одним из нас, и Которого мы можем не стыдиться, потому что в акте невероятной солидарности Он уподобился нам, — действительно ли мы знаем Его? Да, мы говорим о Нем, мы проповедуем Его, и, однако, мы все время пытаемся уклониться от этого Бога и снова ограничить Его рамками по-человечески величественной, организованной веры, религии, которая сочетается с понятиями земного величия, великолепия, красоты. Да, все это имеет свое место. Но какая беда, что по нашей вине этот Бог, столь близкий и понятный, остается недоступным для тысяч людей, для которых наши соборы и богослужение остаются непроницаемы.

Сколько людей могли бы найти своего Бога, если бы мы Его не скрывали! И не только нищие, голодные, униженные в этом мире, но даже и те, к которым, как нам кажется, Бог даже не обращается. Неужели мы не видим эту невероятную солидарность с тем, кто потерял даже Бога, с тем, кто лишился Бога, когда Христос на кресте произнес: *Боже Мой, Боже Мой! зачем Ты Меня оставил?* (Мк 15:34). Есть ли хоть один безбожник, есть ли такие безбожники на земле, кто когда-либо измерил потерю Бога, отсутствие Бога, от которой умираешь, так, как это измерил Сын Человеческий и Сын Божий на кресте? Отдаем ли мы себе отчет, когда произносим слова апостольского Символа веры: «Сошедшего во ад», что этот ад — не место мучений христианского фольклора, что ад Ветхого Завета — это место, где Бога нет; и туда Он сошел к Своим братьям в акте солидарности, вслед за оставленностью на кресте. Как не подумать, что, если взглянуть, с одной стороны, на Христа и с другой — на окружающий нас мир, мы могли бы принести трепетную весть, лучезарную весть о Боге и о человеке, но также и о всем тварном мире на основании доступного нам уровня науки и технических знаний. Есть ли у нас богословие материи, какое мы могли бы противопоставить материализму? А ведь мы не вправе не иметь богословия материи, если мы не только говорим, что Сын Божий стал Сыном Человеческим, то есть что Он вошел в сердцевину истории, но и говорим, что *Слово стало плотью* (Ин 1:14), что Сам Бог соединился с материальностью этого мира! Мы должны видеть в Воплощении первое указание на это, а в Преображении — видение того, чем может стать материя, когда она пронизана Божественным присутствием. Ведь Евангелие говорит нам, что тело Христа, Его одежды, все, что Его окружало, просияло сиянием вечности (Мф 17:2). И в Вознесении Христос, облеченный плотью человеческой, то есть унося с Собой в сердцевину Божества материю этого мира, унес этот тварный мир в глубины Божества. Это всего лишь беглые указания, но разве этого не недостаточно, чтобы создать богословие материи, которое поставило бы эти вопросы, пыталось их разрешить, было в состоянии выдвинуть свои требования к промышленности и технологии, изменить наш подход и устремления в том, что мы творим с этим миром. Ведь мы призваны одновременно обладать этим миром и служить ему. Мы должны обладать им, но с тем, чтобы вести его к полноте жизни в Боге, и в этом смысле созерцание никогда не прекращается. В этом проблема человека, узкого специалиста, проблема людей, которые требуют от нас ответа — и слышат лишь избитые общие места. Тут мы могли бы соединить деятельность и созерцание, то есть углубленное видение, просвещенное светом веры, исполненное чувством священного. Мы могли бы соединить деятельность и созерцание во всех областях, не только в частной, личной деятельности, но в движении, которое теперь охватило все человечество в целом. Сегодня в сердцевине проблемы человек. Человек — вот точка встречи верующего с неверующим, потому что, если прав был Маркс, когда говорил, что пролетариату Бог не нужен, потому что его бог — человек, мы тоже говорим, что наш Бог — Человек, *Человек Иисус Христос* (Рим 5:15) со всем, что следует из того, что Он воплотился, будучи Богом Самим.

Может ли еще молиться современный человек³⁰⁴

Считает ли человек, что он молится или что не молится, думает ли он, что может молиться или что условия современности отняли у него эту способность, — человек молится, разве что нам думается, что молитва присутствует лишь тогда, когда мы вежливой, складной речью выражаем свое отношение к Богу и к мировым вопросам, разве что мы забываем, что молитва вырывается из сердца и что всякий крик нашего существа есть молитва. Разумеется, мы не осознаем, что молимся все время и настойчиво, на самом же деле мы в каждый миг обращены всей устремленностью нашего существа, порывом (порой сломленным, когда наше сознание и наше сердце разделены) к каким-то целям, к каким-то желаниям. И я думаю, очень важно нам осознать, что предмет нашей молитвы и тот, к кому обращена эта молитва, — не всегда Бог.

Когда мы обращаемся к Богу за помощью и одновременно всем существом желаем, чтобы эта помощь не пришла, чтобы путь искушения не закрылся перед нами, когда, подобно блаженному Августину, мы говорим: «Даруй мне целомудрие, но только еще не сейчас»³⁰⁵, когда устами мы просим помощи Божией, а сердцем остаемся Ему чуждыми, когда мы желаем добра и вместе с тем всем существом надеемся, что успеем творить добро когда-нибудь позднее, — все это свидетельствует не только о нашей внутренней разделенности, все это — молитва, которая не только не обращена к Богу, но обращена к князю мира сего и взывает: «Приди мне на помощь, поддержи меня на пути зла». Я думаю, что нам следует сознавать это гораздо более четко, потому что это действительно так, и очень часто мы могли бы обращаться к Богу со словами «Господи, прости!» гораздо более откровенно и честно, если бы сознавали, как часто мы обращаемся к врагу и просим его помощи. Я хотел бы дать вам пример из жизни, в котором есть, может быть, забавная сторона, но и трагичная одновременно.

На протяжении лет пятнадцати я занимался одним бродягой, который то поселялся у меня, то уходил на все четыре стороны, то появлялся и говорил, что у него нет работы, а значит, и денег, то из наилучших побуждений приносил мне в подарок что-то совершенно мне ненужное. Однажды ему взбрело в голову прийти на Пасху в православный храм, он пришел и вот что потом рассказывал: «Стою я в церкви и вижу, как вы выходите из алтаря лицом к толпе и, обращаясь к ней, произносите „Христос воскрес!“ с воодушевлением, с убежденностью, которые меня изумили. Но тут я подумал: чего же удивляться, это его дело, ему за это деньги платят. Но тут толпа отвечает: „Воистину воскрес!“ И мне подумалось: кричат старики, молодежи нет. Но, оглядевшись, вижу, что вокруг стоят молодые люди, которые от всего сердца, вдохновенно кричат: „Воистину воскрес!“ Я почувствовал, что во мне что-то дрогнуло, — уж очень убедительна была эта молодежь. Но тут мне пришла мысль: если все это так, мне надо переменить жизнь! И тогда (продолжал он) я обернулся к дьяволу и сказал: „Ты мне столько раз помогал без всякой моей просьбы, когда мне не нужна была твоя помощь, — теперь-то помоги, на помощь, на помощь!“ И с искренним, совершенно естественным возмущением он закончил: „Негодник! Он и не подумал отозваться!«».

Так вот, он попался, он попал в плен ко Христу, потому что дьявол его предал. Он не знал, что дьявол обманщик по природе, что, если чего-то хочешь, бесполезно обращаться к дьяволу. Но этот пример показывает резко, грубо состояние, которое все мы, каждый из нас можем обнаружить в себе. Это зов, обращение каких-то наших глубин к темным силам, потому что порой вопреки нашим убеждениям, нашим стремлениям, нашей воле голод и жажда нашего сердца и наших тел обращается к ним. Я настаиваю на этом, потому что нам не предлагается выбор — молиться или не молиться, нам предлагается выбор — молиться Богу или с рабской мольбой, с протянутой рукой обратиться к князю мира сего в надежде на подачку, которая будет обманна, потому что он всегда обманывает. Это мне кажется важно, потому что всю жизнь, постоянно, всегда нам придется разрешать эту ситуацию. И когда люди говорят: «Мы не можем больше молиться», на самом деле это означает, что мы не готовы служить ни Богу, ни дьяволу, мы ставим под вопрос и Того, и другого.

Теперь я хотел бы рассмотреть с вами вместе, во-первых, каким образом мы ставим Бога под вопрос, и затем — как Бог нас ставит под вопрос, почему мы бываем неспособны молиться Богу Живому, истинному Богу: ведь мы обращаемся не к истинному Богу.

Где же Бог в нашей современности? Мне часто доводится слышать: как молиться Богу, когда Он явно равнодушен к человеческой трагедии, когда Его нет в ней, когда Он совершенно чужд ей? Как молиться Богу, Который укрылся в Своем небе и предоставляет

человеку самому разбираться с ужасным Его даром, с дарованной Им свободой, за которую расплачиваемся мы, а Он как бы умыл руки?

Поставим перед собой эту проблему и посмотрим, действительно ли Бог устранился или вина на нас, и мы не видим Его, не замечаем Его участия: оно совершенно особенного свойства, но оно полное, всецелое.

Для начала я хотел бы отослать вас к двум евангельским рассказам о буре на Геннисаретском озере (Мк 6:47—51; 4:35—41). Они построены в основном одинаково: ученики покинули один берег озера и направляются к другому. Ночью озеро охвачено бурей. Они борются со смертью, которая грозит им со всех сторон, которая силится сломить хрупкую безопасность их лодки. И наконец, они оказываются лицом к лицу со своим отчаянием и с присутствием Божиим, которое они не умеют распознать. Таков общий план. Теперь детали: в первом рассказе мы видим учеников в лодке посреди бури, и в какой-то момент, когда силы их почти истощились, мужество покидает их, надежда колеблется, вдруг поверх бушующих волн, среди неукротимого ветра они видят, как Христос идет к ним, и не могут поверить, что это Христос. Им думается, что это призрак, и они вскрикивают от ужаса.

Почему они думают, что это призрак? Да просто потому, что они не могут представить, что Бог, Который есть Бог жизни, присутствует в сердцевине этой смертоносной стихии, окружающей их со всех сторон, что Бог, Который есть гармония, и красота, и покой, находится в самом центре разбушевавшейся природы. Они не могут поверить, что Бог — там, где они видят лишь смерть, смятение, опасность.

Не так ли мы поступаем каждый миг? Когда мы видим человеческие трагедии — личные, непосредственно нас касающиеся, или трагедии большего масштаба, охватывающие некую группу, которой мы принадлежим — нацию, народ, — разве мы не поступаем именно так? Разве мы не ставим под вопрос самую возможность того, чтобы Бог присутствовал в сердцевине трагедии? Разве мы не говорим: «Господи, невозможно Тебе здесь быть, это призрак, это карикатура, это оскорбление Твоей святости и истинного Твоего присутствия, Тебя здесь нет. Если бы Ты был здесь, то водворился бы мир, покой сошел бы, не было бы больше трагедии. Не может быть, что Ты здесь!»

Второй рассказ рисует нам происходящее несколько иначе — вероятно, это другая буря. На этот раз ученики отплывают от берега не одни, Христос с ними. Бушует буря, и Христос, утомившись, засыпает на корме лодки. Он спит, положив голову на возглавие, подушку. Ученики в борьбе, они бьются с наступающей на них смертью, со смертью, окутывающей их отовсюду. Они борются за спасение своей жизни, отстаивают безопасность, укрытие, пусть хрупкое, обманчивое, какое представляет их лодка. И обессилив, теряя надежду, когда буря охватила их сердце, их душу, когда буря уже не вне их, но поколебала до глубин их самих, они обращаются ко Христу. И с чем же?

Они не обращаются к Нему с надеждой, которая больше их отчаяния, с уверенностью, что Он может в один миг выправить любую ситуацию или придать ей смысл при всей ее трагичности, они обращаются к Нему с возмущением, с горечью: «Неужели Тебе дела нет, что мы гибнем?» Греческий текст жесток, груб, они будто обращаются ко Христу со словами: Тебе безразлично, что мы сейчас погибнем! Они Его будят, тормозят Его. И даже не с мольбой, они не просят Его о помощи. Их слова означают: Тебе безразлично, Ты спишь, положив голову на подушку, Тебе-то хорошо, удобно, а мы гибнем. Так уж нет! Если Ты ничего не можешь поделать, хотя бы войди в нашу тревогу, раздели наш ужас, умри с нами вместе сознательно!

И Христос отстраняет их. Он встает, не принимая оскорбление, Он его отвергает: «Маловеры, долго ли Мне быть с вами?» И обратившись к расвирепевшему морю, к разбушевавшимся над озером ветрам, готовящим погибель, ко всей этой буре, которая остается вне Его, которая никаким образом не проникла в Него, ни отчаянием, ни страхом, Он проливает на бурю Свое внутреннее спокойствие и приказывает водам улечься, ветрам утихнуть — и на озеро сходит покой.

Не то же ли самое мы переживаем по отношению к человеческим ситуациям? Сколько раз нам случалось в личной или семейной трагедии, перед лицом более обширных трагедий народов и стран сказать: Бог-то в безопасности, Он на Своем небе, спит, поживает, смотрит, как мы сражаемся и бьемся, ждет момента, когда битва окончится, когда сокрушатся наши кости, когда будут сокрушены и наши души и наступит момент, когда Он будет нас судить, — но до тех пор Он остается вне трагедии.

Возможно, если вы очень «благочестивы», вам не хватает мужества выразиться такими словами, возможно, что-то в вас нашептывает эти слова, и вы отбрасываете их силой воли, и тем не менее в христианском мире сейчас непрерывно слышится: с Богом что-то не в порядке, что-то не так, есть требующая разрешения проблема. Вот только решаем мы проблему по примеру апостолов, мы говорим: «Это призрак! Он не может быть в сердцевине трагедии, Он — Господь мира, покоя, не может быть Господом бури». Мы говорим: «Ему безразлично! Он наделил нас этой опасной, убийственной свободой, а расплата за это предстоит нам».

Так вот, я хотел бы, чтобы вы немного подумали о том, какое место Христос — Бог во Христе — занимает в истории, будь то ограниченная история человеческой души, личной судьбы, семейной группы или большая, необъятная История всего космоса, так сказать.

За две тысячи лет, а может, и больше, до рождения Христа был человек, который бился над проблемой Бога. Звали человека Иов, у него было сыновнее сердце, он не мог удовольствоваться благочестивыми увещаниями своих друзей, считавших, что «Бог всегда прав» и, следовательно, невозможно обвинять Его. Иов требовал, чтобы Бог предстал на скамье подсудимых, потому что не мог понять Его.

В какой-то момент, о чем говорится в Книге Иова в конце девятой главы, он восклицает: где тот, кто встанет между мною и Судьей моим, кто положит свою руку на Его плечо и на мое плечо? (Иов 9:33). Где тот человек, который в этой встрече, в этом противостоянии, являющемся судом и смертью — смертью Бога, если человек Его осудит и отвергнет, смертью человека, если Бог его отвергнет и осудит, — кто тот человек, который сделает этот смелый шаг, такой шаг, который поставит его в сердцевину ситуации, точку столкновения всех сил, точку наивысшей напряженности? Где тот, который встанет там и взглянет в лицо и обвинителю, и обвиняемому, кто будет защитником человека и оправдателем Бога? Где тот, кто будет не просто посредником, посланником, в равной мере безразличным к тому и другому, и попытается установить компромисс или соглашение между ними, — нет, тот, кто встанет на это место, чтобы их соединить, и готов будет дорого заплатить за это?

Иов чувствовал, что это неразрешимое напряжение между Богом, Каким Он виделся ему в переживаемой им трагедии, и Богом, Какой Он есть в реальности, не могло быть разрешено просто идеологической диалектикой, речами его друзей, которые объясняли ему, почему прав Бог. Когда друзья говорили ему: ты, видно, согрешил! — он справедливо отвечал: нет, я не грешил — не в том смысле, как мы говорим, будто никогда не делали зла, а: я никогда не отлучился от Бога, я никогда не отверг Бога, я никогда не

восстал против Бога — почему Он ополчился на меня? Он не мог принять и того, как выступали за Бога его друзья, будто всемогущий Бог вправе поступать по Своему произволу. Нет, такого Бога он не мог принять, потому что такого Бога нельзя уважать, Ему нельзя поклоняться с благоговением, Ему нельзя служить любящим сердцем.

Он еще не знал, *что* произойдет, но знал: что-то должно произойти, иначе эта тяжба — Бог перед судом человека и человек перед судом Бога — неразрешима.

Спустя несколько столетий произошло то, чего он ожидал, о чем мечтал помимо всякой надежды: Сын Божий стал Сыном Человеческим. Нашелся человек — *Человек Иисус Христос*, как называет Его апостол Павел (Рим 5:15), Который вместе с тем был Богом Живым, Тем, в Ком полнота Божества была явлена, вошла в мир в человеческой плоти.

И затем Богочеловек сделал этот шаг: Он вступил в самую сердцевину ситуации. Более того: Он Сам *стал* этой ситуацией, потому что в Нем Бог и человек оказались *едины*, и трагедия, в которой лицом к лицу сошлись Бог и Иов, сгустилась в одной человеческой личности и в одном Божественном Лице — в Человеке, свободном от греха, но Который в акте полной, ничем не ограниченной солидарности с падшим человеком стал не только проклятым, осужденным, но *клятвой* (Гал 3:13). Он встал перед Богом в полной солидарности с человеком — и оттого умер. Он встал перед человеком в полной солидарности с Богом — и вместе с Богом Он был отвергнут, осужден умереть на Кресте. Вот место, какое занимает Господь.

И когда мы говорим об этих двух образах бури, точка, где в этой буре Господь, — не точка «покоя», это точка, где сталкиваются, встречаются, противостоят все различные напряжения Истории, весь ужас взаимной ненависти, все то, что мы называем грехом, то есть последствия разделенности человека от Бога и человека от своего ближнего. Он в той точке, которую можно бы назвать центром циклона — не в месте покоя, а в месте равновесия, возникающего от максимального напряжения и столкновения. Да, наш Бог — не такой Бог, Который ушел на небо и ждет момента судить живых и мертвых, это Бог, Который стал солидарен с нами настолько, что это повергает в ужас.

Скажу еще одно об этой солидарности, потому что, если мы не признаем этой солидарности, если не поймем, какое место Бог занимает по отношению к нам, Ему не оправдаться — Бог Он или нет, всемогущ или нет, мы не можем принести Ему нашу верность и уважение.

Изначально, с первого творческого акта, Бог связал Свою судьбу с нашей: творческий акт, Божественное Слово, Слово, произнесенное Богом, из Которого появляются одна за другой, в новизне, в первой свежести, в изумленности, все Его твари, — это Слово создает отношение между Богом и человеком. И это отношение ответственное, это не просто Божественное действие, последствия которого вернутся к Богу лишь позднее. Церковь на протяжении веков осмыслила тот факт, что Бог не сотворил мир в момент безумия, ослепления, безответственности, а что Он несет полную ответственность за Свой акт.

И эта ответственность проступает все яснее и яснее на протяжении Истории. Уже в Ветхом Завете, в библейской истории мы видим беспрерывно проявления этой незримой солидарности Бога с человеком: человек отворачивается от Бога — Бог не отворачивается от человека, человек оказывается предателем — Бог остается верным, человек предается прелюбодейству — Бог остается верным; это все библейские образы.

И наконец, когда пришла *полнота времени* (Гал 4:4), эта солидарность наиболее совершенно проявляется в воплощении Сына Божия, Который становится Сыном Человеческим, и это не просто солидарность извне, будто с другом, она становится таким единством, что человек и Бог оказываются связанными одной судьбой, неразрывно. Можно было бы сказать, что Бог обретает бытие во времени и в пространстве и общую с человеком судьбу, и вместе с тем человек в таинстве Воплощения превосходит, преодолевает время и пространство и уже вступает в тайну вечности, пришедшей в лице Того, Кто есть Альфа и Омега, начало и конец всего (напр., Откр 1:8).

Но задумаемся на миг о солидарности Христа. Как далеко она идет? Кого она обнимает? Кого она охватывает? Кем она овладевает, чтобы спасти его? Когда мы думаем о человечестве Христа, мы постоянно говорим: да, Он уподобился нам, Он родился, рос, Он испытывал голод и жажду, Он уставал, Его окружала любовь и ненависть, Он отзывался радостью или горем — и в конечном итоге Он умер. И нам порой кажется, что высшее проявление этой солидарности — Его смерть. На самом деле эта предельная солидарность включает нечто еще большее.

Апостол Павел нам говорит, что смерть — расплата за грех (Рим 6:23): грех как разделенность от Бога. Смерть — результат этой разделенности: никто не может умереть, если не познал эту разделенность. И предельная трагедия, высшая трагедия, благодаря которой мы можем благоговеть перед нашим Богом и уважать Его, в том, что ради того, чтобы разделить нашу судьбу, Он принял даже и это. Вспомните крик, который Он испустил на Кресте, самый трагичный вопль Истории: *Боже Мой, Боже Мой! зачем Ты Меня оставил?* (Мк 15:34). В Нем как бы померкло сознание Его Божества, и в этом «метафизическом обмороке» Сын Человеческий разделяет ужасную судьбу человека, который потерял Бога и от этого умирает, Он остался без Бога.

Ту же мысль мы выражаем уже не словами Евангелия, а в терминах апостольского Символа веры³⁰⁶, когда говорим, что Христос «сошел во ад». Ад, о котором идет речь, не дантовское место мучений, это более ужасный ад Ветхого Завета, *шеол*, место, где Бога нет, место радикального Его отсутствия. Да, Христос потерял Бога из солидарности с человеком — и Он сходит туда, куда сходят все люди: в окончательную и полную пустоту разлученности. Он сходит туда как человек, но вместе со Своим человечеством вносит туда полноту Божественного присутствия, и ада, как его понимал древний Израиль, больше нет.

И тогда мы можем понять, что означает эта солидарность: Он согласился принять на Себя, подъять, усвоить Себе не только физическую смерть, но глубинную причину этой смерти, а именно, потерю Бога, можно было бы сказать, употребляя слово в его этимологическом значении, — *атеизм, безбожие*. Видите, как далеко идет эта солидарность: не только Бог соединяется с человеком, не только Он не делает различия между добрыми и злыми — теми, кого общество принимает и кого оно отбрасывает, — Он соглашается усвоить Себе сердцевину человеческого ужаса, отсутствие Бога, чтобы быть с нами в самой глубине этого отсутствия. Он не только в сердцевине Истории, Он в сердцевине клятвы. И слова, за сотни лет до того написанные автором псалмов: *Куда убегу от лица Твоего? На небесах престол Твой; в ад ли? но и там Ты еси* (Пс 138:7—8), для древних евреев звучали невозможностью, потому что для них *шеол* именно означал «место, где Бога нет» — как может Он быть там, где Его нет? И вот Он там: как Человек Он принял это отсутствие, как Бог Он уничтожил это отсутствие.

В таком случае не кажется ли вам, что мы можем относиться к Богу не как к Тому, Который нас предал, оказался неверен, Богу, Которого невозможно уважать, а как к Богу, Которого мы можем уважать от всего сердца?

Но если мы хотим молиться Ему в исторической буре, будь то личной или всеобщей, мы должны присоединиться к Нему там, где Он есть, а то, что мы делаем, уже до нас пытались сделать апостолы: они пытались остаться в своей хрупкой ладье и не рисковать жизнью вне ее. То же самое делаем мы в нашей столь же хрупкой ладье — в Церкви, мы пытаемся остаться под ее защитой от бури и в лучшем случае призываем к себе тех, кого она закрутила, кого она сломила, и говорим: идите к нам, если бы вы были с нами, вы не были бы в этом безумии разбушевавшейся стихии. Но человек прекрасно знает, что хрупкая церковная ладья — и я говорю не о Церкви с большой буквы, я говорю о наших жалких, духовно бедных человеческих общинах — не является местом полноты Присутствия и победы. Пример тому, образ — слова Петра, когда он увидел, услышал, что Христос говорит: это Я! — и отозвался: если это Ты, повели, чтобы я пришел к Тебе по волнам, — и пошел. И пока он думал лишь о Христе, к Которому шел среди бушующих волн, он шел; когда он вспомнил о себе и об опасности смерти, то стал тонуть (Мф 14:25—32). Разве не точно так же мы относимся к Истории и к Богу?

Порой да, мы делаем этот смелый шаг и выходим за пределы той хрупкой защищенности, на которую мы возложили надежду; а потом спохватываемся, что защиты нет, и забываем, что единственная защита — это Живой Бог, Который все держит в Своей руке.

Бог в сердцевине истории, Бог с каждым, кто страдает, Он глубже, чем кто-либо из нас, осознает страдание, потому что может измерить его глубину так, как мы не в состоянии ее измерить. И в таком случае, я думаю, Он вправе задать нам вопрос. Вы наверно помните конец Книги Иова: когда Иов в итоге оказывается лицом к лицу с Богом, Бог не отвечает ему, Он не объясняет ему подробно Свое отношение к страданию, к смерти, к жизни, к тому, как разворачиваются человеческие трагедии. Бог поступает иначе: Он ставит Иова перед лицом всей тайны творения и вопрошает: где ты был, когда все это появилось Моим державным словом? Где была твоя мудрость? Где была твоя сила, где был твой разум? Как ты можешь теперь судить Меня, когда тебя не было при начале Моих дел? (Иов 38 и след.).

Об этих Его словах можно было бы сказать, если проявить поменьше «благочестия», чем мы часто проявляем, что это отговорка, лазейка для Бога, один из доводов, которые может привести Бог и на что нам нечего возразить. Но Он ставит и другой вопрос: где ты, обвиняющий Меня, стоишь в трагедии Истории? ты Мне говоришь, что не можешь молиться, потому что Меня там нет, а ты? ты-то где?

И теперь я скажу немного на тему заступничества — что оно подразумевает. Среди трагедии Истории мы обращаемся к Богу; случилась ли беда с нашим другом, или что-то, касающееся непосредственно нас, или более общие события в пространстве и времени, порой мы оборачиваемся к Богу и говорим: «Господи, приди, помоги, помоги!»

Очень часто наше заступничество этим и ограничивается; если выразиться более жестко, сняв с нашей молитвы налет благочестия, мы просто сказали: «Господи, я заметил много неладного в том мире, который Ты создал, а Ты как будто не обращаешь на это никакого внимания. Взгляни, Господи, — в Индии голод, в Персии землетрясение, происходит революция, есть концентрационные лагеря, есть смерть, страдание, страх, насилие, жестокость: что же Ты?»

Разве не так мы часто поступаем, когда ходатайствуем за кого-то? Разве наше заступничество не сводится часто просто к тому, что мы призываем Бога и напоминаем Ему о том, что Он должен был бы сделать? Заступничество состоит не в этом, заступничество не состоит в том, чтобы напоминать Богу, что Он забыл Свои обязанности. Заступничество, предстательство на западных языках — например, по-французски *intercession* — происходит от латинского слова, которое значит: сделать шаг, который приведет вас в центр ситуации, — то, что я описал недавно в отношении Иова, что составляет суть Воплощения. Вот в чем заступничество: оно начинается с действия, а не с речей. Христос — Ходатай, Первосвященник всего мира (напр., Евр 4:14; 5:10) именно потому, что, став человеком, Он явился Заступником и изнутри этой ситуации может в чистоте Своего совершенного человечества и в силе Своего Божества, как Сын Человеческий и Сын Божий, вознести Свою молитву к Отцу.

Но когда молимся мы, не слышим ли мы в ответ, как передает Исаия в шестой главе своего пророчества, что Бог восседает на Своем престоле и говорит: *кого Мне послать?* (Ис 6:8). Часто ли нам случалось, любому из нас, услышав, даже как бы издали, из глубин совести, словно шепот, голос Божий, — часто ли нам случалось ответить: *«Вот я, Господи, пошли меня! Пошли меня в сердцевину этой ситуации; я войду туда, я встану там, я пойду и останусь там, пока она длится. Не столько, сколько хватит моего терпения, не до того момента, когда эта ситуация покажется мне слишком болезненной, — я останусь там до тех пор, пока обе стороны находятся в ней, в солидарности, от которой я не отрекусь».*

Часто ли с нами так бывало? Не очень-то! Разве что вы бесконечно более выдающиеся люди, чем те, кого я встречаю изо дня в день. Я честно скажу от своего имени, как и от вашего: не часто. А тогда в чем же заключается наше заступничество? Где мы стоим? Теперь Бог мог бы задать нам вопрос: ты говоришь, что не можешь молиться, потому что не знаешь, где Я? Я — в Гефсиманском саду, Я — там, где Меня пригвождают ко Кресту, Я умираю, Я жажду, Я испускаю вопль всей твари, которую ты, человек, в особенности — ты, христианин, предал: *Боже Мой, Боже Мой! зачем Ты Меня оставил?* (Мк 15:34). Я умираю на Кресте. А ты — ты-то где? Ты, обвиняющий Меня в том, что Меня нет, — где ты сам? Стоишь ли ты вне трагедии, глядя на нее со стороны и восклицая: Бога нет, где же Он, куда Он смотрит? Или ты там, в сердцевине трагедии? Если бы ты был там (мог бы сказать Господь), люди увидели бы, что там — Я, потому что ты — частица, живой член Моего Тела, частица всецелого Христа. Твое присутствие было бы Моим присутствием. Твое отсутствие заслоняет Мое реальное присутствие. Твое место — в сердцевине трагедии, и если бы ты стоял там, ты сумел бы молиться. Ты не молишься, ты не в состоянии молиться, потому что тебя там нет. Ты не в состоянии молиться Господу бури, и поэтому создаешь себе ложный покой и ложную успокоенность.

Вот в чем вся проблема: в той ситуации, где мы находимся, в Истории, как и в нашей частной жизни, мы обвиняем Бога! Бог нас не обвиняет, но лишь с грустью задает нам вопрос: где ты? Быть может, вы помните роман польского писателя, который, правда, скорее известен моему поколению, чем более молодым людям, «*Quo vadis?*», «*Камо грядеши?*»³⁰⁷. Это история из времен самого первого гонения. Спасаясь, Петр уходит из Рима, у городских ворот он встречается Христа и спрашивает Его: *Quo vadis, Domine?* Куда идешь, Господи? И Христос отвечает: *иду в Рим умереть с Моими братьями, потому что ты их оставил.* Вот как ставит нам вопрос Господь.

Вот ответ на него из реальности наших дней. Во время гражданской войны в России мать с двумя детьми, которой грозил расстрел, была спасена незнакомой ей женщиной по имени Наталья. Та назвалась ее именем и погибла. «У меня нет детей», — объяснила

Наталья спасенной. Этот рассказ меня очень глубоко тронул, я часто привожу его в пример и он неизменно вызывает отклик в сердцах.

Заступничество — реальность, молитва — реальность, но это верно лишь в случае ответственной, вовлеченной позиции, «ангажированности». Мы все время говорим о вовлеченности: политической, общественной, всевозможной, но сами мы остаемся в стороне, мы то включаемся ответственно, то безответственно отходим: включаемся на время, как можно наняться на какой-то срок! А затем, когда мы устали страдать, мы говорим тому, кто в сердцевине страдания: продолжай, а я отдохну; когда усталость пройдет, я вернусь поддержать тебя. Бог так не поступает!

Я хотел бы дать вам еще один пример. Человек, которого я знал близко³⁰⁸, который оказал на меня определенное влияние в молодости, был во время немецкой оккупации схвачен и отправлен в концентрационный лагерь. Он вернулся оттуда через четыре года. При первой встрече я спросил его: «Что вы вынесли из лагеря?» Он ответил: «Тревогу». Меня это поразило, потому что он был человеком крепкой веры, сильным человеком, и я переспросил: «Вы потеряли веру?» И он ответил: «Нет, но, видишь ли, пока я был в лагере и подвергался жестокостям, насилию, я признавал, что Бог дает мне власть прощать. В любое мгновение я мог сказать: „Господи, прости! Они не знают, что творят“. В любое мгновение я мог сказать: „Господи, Тебе больше нечего взыскать с них, я простил им в Твое имя“. А теперь я на свободе. Те, кто нас так мучил, когда-то встанут перед судом Божиим, и я хотел бы всем существом воззвать к Богу: „Прости!“ Но как Он может мне верить? Я больше не страдаю».

Вот человек зрелый, не герой. Он был человек жесткий, трудный, тяжелый, от которого нельзя было ожидать каких-то мистических порывов. Он сумел молиться, потому что был в сердцевине драмы. Мы не в состоянии молиться — мы на берегу моря и просим Бога спасти тонущую лодочку. Если бы нам хватило мужества самим взяться за дело, мы сумели бы молиться, мы были бы там же, где наш Ходатай, Первосвященник всей твари (Евр 8:6), Христос. Наше призвание в этом.

Может быть, вы мне скажете, что образы, которые я выбрал, слишком велики для нас. Разумеется, кто из нас подобен Наталье или этому человеку, о котором я говорил, кто из нас действительно в меру образа Христова? Но если мы не таковы, значит, мы неверны своему призванию, потому что мы призваны быть живыми членами Тела Христова. Патриарх Алексий³⁰⁹ как-то в ответ на вопрос, почему в России не борются за большую свободу для Церкви в советском обществе, ответил: «Потому что Церковь — не бюро пропаганды, Церковь — Тело Христово, ломимое за спасение своих гонителей».

Мы — это Тело либо мы изменники. Иного выбора нет. Мы должны быть присутствием Христа, по примеру Натальи, по примеру этого человека, — в малом и в великом, все равно. Когда кто-то унижает, обижает вас и вы не в состоянии простить, когда у вас напряженные отношения в той небольшой человеческой среде, которая вас окружает, и вы не умеете разрядить это напряжение, — здесь-то и начинается проблема заступничества, и здесь же она разрешается.

Мы никогда не сможем молиться, кроме как под воздействием Святого Духа, храмами Которого мы призваны быть, и не только местом Вселения, но откровением, проявлением, сиянием Его в мире.

Наше призвание — стать участниками Божественной природы, — это слова апостола Петра из его Послания (2 Пет 1:4), стать не просто вообще детьми Божиими, но, по слову

святого Иринея Лионского, в Единородном Сыне, в Котором мы, действием Духа Святого, едины, стать единородным сыном Божиим.

У нас нет выбора: либо мы принимаем свое христианское призвание, либо должны его отвергнуть. В таком случае наберитесь мужества — наберемся мужества! — ставить Бога под вопрос и понять, где Его место и что Он такое. И будем готовы, что Бог может поставить нас под вопрос, и признаем собственную трусость, свое предательство, свое отсутствие. И изнутри этой ситуации, где Бог окажется оправданным в наших глазах, а мы осужденными, мы найдем, в акте покаяния, путь к соединению с Ним и тогда сможем вознести свой голос, воздеть руки, устремиться душой к Богу в заступническом действии по образу Христа, а не в порыве, который будто стремится противостоять «несправедливости» Божией, что мы так часто пытаемся сделать.

Мужество молиться³¹⁰

Молитва — одновременно искание Бога и встреча с Ним, которая перерастает в общение. То есть молитва является и деятельностью, и состоянием, а также определенным взаимоотношением с Богом и определенным отношением к тварному миру. Она рождается из осознания того, что мир, в котором мы живем, — не просто двухмерный, жестко ограниченный временем и пространством, «плоский» мир, где мы встречаем то, что нас окружает, лишь как поверхность, однообразную толщу, под которой — пустота. Молитва рождается, когда мы открываем, что мир имеет глубину, что мы не просто окружены видимым, но погружены в невидимое и пронизаны им. И это невидимое — одновременно присутствие Божие, высшая и предельная реальность и глубинная сущность человека. Видимое и невидимое не противостоят друг другу, но и не просто накладываются: они присутствуют одновременно, взаимопроникаясь, как огонь и раскаленное железо. Они взаимодополняются в той тайне, которую английский писатель Чарльз Уильямс называет «соприсущностью»: присутствие вечности во времени, будущего в настоящем мгновении, но также непреходящее присутствие мгновения в вечности, в эсхатологическом совпадении прошедшего, настоящего и будущего, которые содержатся одно в другом, подобно тому как дерево содержится в семени. Жить лишь видимым — это жить поверхностно, не замечая или отстраняя не только Бога, но и глубины тварного мира. Такая поверхностная жизнь обрекает нас и в видимом мире замечать лишь то внешнее, на чем останавливается наш взор. Если пытаться проникнуть дальше, то мы обнаруживаем отсутствие содержания, в сердцевине вещей мы достигаем точки равновесия, конечной, никуда не ведущей точки. За пределом этой сердцевины нет ничего, внутри геометрического объема нет глубины. Это последний предел. Мир внешних форм может расширяться, но не способен углубляться. Однако *сердце человека глубоко* (Пс 63:7). Когда мы достигаем той точки, откуда ключом бьет жизнь, мы обнаруживаем, что источник ее — еще глубже. В сердце человека есть глубина, которая открывается на невидимое — не на невидимое глубинной психологии, а на бесконечность, на творческое слово Божие, на Самого Бога. Войти в себя не означает погрузиться, подобно интроверту, в собственные глубины, а выйти за пределы своей ограниченности. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Найди двери собственного сердца, и ты увидишь, что это дверь в Царство Небесное». Это обнаружение своего глубинного «я» происходит одновременно с признанием того, что и другой человек, каждый, кто рядом с нами, также имеет свою неизмеримую глубину безмерности и вечности. Я сознательно употребляю слово «безмерность»: оно указывает, что глубину эту нельзя измерить — не потому, что на это не хватит наших мерок, а потому, что ее сущности чуждо самое понятие измеримости. Эта глубина соразмерна призванию человека стать причастником Божественной природы (2 Пет 1:4); обнаруживая собственную глубину, человек тем самым открывает Бога, Того, Кого можно было бы назвать «незримым Ближним»: Он —

Дух, Христос, Отец. А в окружающем нас мире предметов и живых тварей мы обнаруживаем то, что наряду с человеческими глубинами принадлежит безмерности и вечности. На этой грани и устанавливается молитвенное отношение: признание, что мир имеет три измерения — он расширяется в пространстве, течет во времени и обладает устойчивой, но вместе с тем бесконечно изменчивой глубиной.

Следовательно, молитва — отношение, которое устанавливается между человеком, между видимым и лежащим в его основе невидимым — целым глубинным миром, включающим все существующее. Вот почему я сказал, что молитва — искание, исследование этой области невидимого и мира наших собственных глубин, который вѣдом одному только Богу, который только Он и может нам открыть. И через молитву, сначала на ощупь, в проблесках нового видения, мы ищем и открываем Бога и человека в их взаимосвязи. Позднее, когда в ярком сиянии света нам открывается то, что мы способны познать о невидимом и о преображенном видимом, которое стало светоносным, просияло собственной безмерностью и вечностью в Боге, молитва становится состоянием, хотя не перестает быть тем, о чем я говорил вначале. В мире поиска, частичной слепоты и частичного прозрения наши первые шаги в молитве состоят из восторженного изумления, благоговейного трепета и чувства трагичности. Изумления, когда мы открываем себя самих, познаем Бога, изумления при виде того, как мир разворачивается перед нашим взором до пределов Божественной бесконечности. Благоговейный трепет, внезапное озарение, охватывающее нас радостью и ужасом, когда мы оказываемся в присутствии святости и красоты Божией. Но также и чувство трагичности — нашей личной и всеобщей: трагично быть слепым, трагична наша неспособность непреткновенно жить в полноту своего призвания, все время ощущать себя пленником своей ограниченности, ослепления. Трагично видеть мир сбившимся с пути, безбожным, колеблющимся между жизнью и смертью и неспособным выбрать раз и навсегда жизнь, раз и навсегда уйти от смерти. Восторженное изумление и чувство трагичности — вот два источника молитвы. Оба они рождаются из нашей встречи с глубинами мира, которые стали прозрачными, до конца проницаемыми. Без этой встречи мир предметов, мир стихийно бушующих сил, непонятный и часто уродливый мир, в котором мы живем, может породить в нас страх, недоумение, ужас.

Итак, в сердцевине того основного взаимоотношения, которое мы называем молитвой, — тема встречи. Эта тема — основоположная категория откровения, ведь само откровение есть та встреча с Богом, которая дает новое видение мира. Все — встреча, как в Священном Писании, так и в жизни. Эта встреча одновременно личная и универсальная, единственная и показательная. Она всегда двойственна: встреча с Богом и — в Нем — со всем творением, встреча с человеком, с глубинами человека, укорененного в творческой воле Божией, устремленного к последнему завершению, когда *Бог будет все во всем* (1 Кор 15:28). Это встреча личная, потому что каждый должен пережить ее сам: ее невозможно познать извне или понаслышке. Она принадлежит нам лично, но вместе с тем имеет и всеобщее значение, потому что в ней мы перерастаем свое поверхностное и ограниченное «я». Эта встреча единственная, потому что при глубоком подходе мы незаменимы и единственны как для Бога, так и для других, каждая тварь знает Бога по-своему, каждый из нас знает Бога так, как никто другой Его никогда не познаёт, кроме как через нас. И одновременно, поскольку каждый из нас принадлежит всецелому человечеству, каждая встреча показательна: она есть откровение для всех того, что каждый знает лично.

К этой встрече мы должны отнестись внимательно, потому что, если не знать ее внутренних законов, мы ее упустим. Она всегда требует взаимности. Она всегда есть откровение не только другого, но и нас самих, она происходит в рамках взаимосвязи.

Можно бы сказать, что лучший образ всякой встречи — витраж. Свет, льющийся через него, являет линии, краски, сияние, красоту, смысл витража, но одновременно его линиями, красками, красотой, смыслом нам явлен невидимый потусторонний свет. То есть открытие того и другого происходит, становится возможным во взаимоотношении света и витража. Бог открывается в Своем невозмущаемом, бесстрастном, державном величии, но и в *Муже скорбей* (Ис 53:3), в воплощенном Слове, и это является также откровением величия человека. Если мы обнаруживаем глубины человека, то мы, значит, превзошли эмпирического человека и признали в нем назначение, призвание не индивидуальное, но личное — такое призвание, которое делает его не просто экземпляром человеческого рода, а членом таинственного тела, всецелым Человеком, который призван быть местом присутствия Божия.

Тем не менее, когда человек пускается в этот поиск, он одинок и должен сначала признать существование другого. Это признание должно произойти во взаимной связи, а не по отношению к себе самому, и это различие важно. Все, что мы познаём, мы познаём во взаимоотношении, пока между нами нет связи, ничто и никто не существует для нас. Но в том, чтобы познавать вещи и людей только по отношению к себе, есть большая опасность. Такое познание смещает центр вселенной, сводит все к нам самим и тем самым искажает объекты познания, представляет их мелкими, мелочными, столь же незначительными, каковы мы сами, каковы наши желания, стремления. И значит, когда мы беремся за дело и готовы признать существование другого, мы должны быть готовы войти во взаимоотношение, которое неизбежно будет раздирающе мучительно, оно потребует от нас перерасти себя, отказаться от себя, умереть себе в результате того, что мы открыли другого со всеми его требованиями, его правом на существование, на независимость, на свободу вне нас. Мы должны признать неумолимую «инаковость» другого. Что бы мы ни делали, как бы глубоко мы его ни знали, как бы тесна ни была связывающая нас приобщенность (и это еще более верно во взаимоотношениях человека с Богом, чем с другим человеком), в сердцевине взаимоотношения всегда останется тайна, мы никогда в нее не проникнем. В Священном Писании, в книге Откровения, есть замечательное место, где святой Иоанн Богослов нам говорит, что те, кто войдут в Царство Божие, получают от Творца белый камень, на этом камне написано имя, которое знает только Бог и тот, кто получит этот камень (Откр 2:17). Это имя — не прозвище, под которым мы себя знаем, которое отличает нас в этом тварном мире времени и пространства. Наше подлинное имя, вечное имя в совершенстве совпадает с нашей личностью, с нашим существом, оно нас в совершенстве определяет и выражает. Его знает только Бог, и Он нам его открывает. Никто другой не может его знать, потому что оно выражает неповторимые отношения, связывающие нас с Творцом. Как часто человеческие отношения бывают разрушены желанием одного открыться за пределами возможного или стремлением другого проникнуть в ту священную область, которая принадлежит только Богу. Желание тщетное, попытка столь же обманчивая, как попытка ребенка найти начало источника, точку, где рождается вода, которой не было за миг до того.

Но недостаточно просто признать право другого на существование, принять его как неумолимо другого. Нужно уметь видеть, слышать и оценивать. Только при этих условиях встреча может принести плоды.

Христос говорит о чистом оке (Мф 6:22), чистом зрении, которое необходимо для того, чтобы увидеть вещи, как они есть, не набрасывая на них потемнение нашего зрения или тени и неверные очертания, которые искаженный взор создает в нашем воображении. Но чистого ока недостаточно. Нужно еще найти правильную позицию. Нужно найти расстояние, откуда взгляд охватывает весь предмет и не ослеплен им. Ведь таково главное правило, которое мы должны соблюдать, если хотим увидеть произведение искусства.

Картину, скульптуру нельзя рассматривать ни подойдя слишком близко, ни отступив слишком далеко. Существует некая наилучшая точка, которая позволяет нам видеть произведение таким, каким его замыслил художник, в его полноте, не утопая в деталях. То же самое касается человеческих отношений. Нужно найти расстояние, которое определяется не пространством и временем, а внутренней свободой — такой свободой, которая нас тесно соединяет, но не связывает по рукам и ногам. Быть может, то, что я хочу сказать, лучше пояснить на примере, чем долгими рассуждениями. В замечательной книге английского писателя Чарльза Уильямса выведена молодая женщина по имени Лестер, которая погибла при авиационной катастрофе. Ее душа освободилась от тела и открывает новый мир, которого она никогда не замечала и в который только что попала: мир невидимого стал для нее единственной подлинной реальностью. А видимый мир ускользает от ее взора, от видения сердцем. В какой-то момент она оказывается на берегу Темзы. Она видела реку много раз, видела ее воду — грязную, жирную, отяжелевшую всеми отбросами Лондона, и эта вода вызывала в ней отвращение. Но теперь она освободилась от тела и больше не связывает все на свете лично с собой, и она *видит* воды Темзы как бы впервые. Она видит их как нечто, вполне отвечающее тому, чем они должны быть, чем должна быть река, проходящая через большой город. Да, эти воды густые, грязные, они несут к морю все отбросы города. Но такими они и должны быть, они соответствуют своей роли, они подлинны. И как только она их видит как факт, принимает их полностью, как только она не реагирует на них эмоционально и не может испытывать к ним физического отвращения, поскольку у нее нет тела, которым она могла бы в них погрузиться, нет губ, которыми она могла бы этой воды напиться, то она прозревает глубину этих вод. Через первый слой сгущенности она начинает различать слой за слоем более чистой воды. Чем глубже она видит, тем они становятся прозрачнее, до момента, когда где-то в сердцевине этой воды (которая казалась Лестер непроницаемой, пока она отбрасывала на нее собственную потемненность) она видит чистый ручей, видит первичную воду, какой ее сотворил Бог, и в самой ее сердцевине — сверкающую, чудесную струю — воду, которую Христос предложил самарянке (Ин 4:10, 13—14). Освободившись от самой себя, Лестер стала способна видеть то, к чему она раньше была слепа. Сквозь менее плотные слои она обнаруживает все более блистательную, светоносную прозрачность.

Так бывает и с нами. Если бы мы умели видеть, освободившись от самих себя, в той внутренней свободе, которую отцы Церкви называют *ἀπάθεια*, «бесстрастие», то есть отсутствие страстности, когда человеком не движет, не управляет ничто внешнее и он в царственной свободе действует изнутри, мы тоже могли бы в окружающей нас плотности различать светоносные глубины людей и предметов. Мы тоже могли бы в этом мире, который нам кажется таким непроницаемым и густым, видеть отблеск присутствия Божия, благодати Его, действующей везде и во всем.

Но недостаточно видеть, надо еще и слышать. Слышание — акт неослабного внимания. Чтобы услышать, надо не только напрячь слух, но за пределом услышанных слов стремиться уловить смысл, направленность того, что было произнесено или осталось невысказанным. Слышать означает смиренно склониться, стать способным принять то, что другой сеет на поле нашего ума, на поле нашего сердца. В этом подлинный смысл латинского слова *humilitas*, смирение: оно происходит от *humus*, «плодородная земля». Эту землю мы не замечаем, потому что привыкли, что она всегда тут, под ногами. Это безмолвная, безропотная земля, которая умеет обогатиться всем, что мы выбрасываем в нее, которая способна все превратить в богатство, принять в себя любые семена и дать им плоть, дать им жизнь, позволить им взойти, стать в полноте самими собой, никогда не навязывая семенам своих законов. Наша способность слышать начинается со смирения.

Мы должны предложить себя Другому, как эта земля, богатая, безмолвная и полная творческих возможностей.

Но смирение означает также и послушание. Латинское слово *obaudire* имеет два значения: «прислушиваться» и «повиноваться». Прислушиваться с тем, чтобы услышать, понять и принести плод. Основные условия, чтобы нам предстать перед Богом, — полное внимание, рождающееся из того, что мы во что бы то ни стало хотим услышать, и желание, решимость принять услышанное и принести плод, то есть преобразиться, измениться, из того, что мы есть, стать тем, чем мы призваны быть. Это основоположное состояние в молитве может быть проиллюстрировано на примере человека, который любит наблюдать птиц. Он встает ранним утром, так как должен успеть в поле, в лес до пробуждения птиц, чтобы его приход остался незамеченным. Он затаивается молча и без движения, он весь — слух, весь — внимание. Все его существо прозрачно и восприимчиво, готовое принять печать каждого звука, каждого движения. Он слушает, смотрит, но услышит и увидит то, что происходит вокруг него, только при условии, что он свободен от предвзятости, готов услышать все, что пошлет ему Бог. Его отношение одновременно пассивное и активное: пассивное в том смысле, что он, как земля, *humus*, до конца открыт, активное в том, что он напряженно готов отозваться на всякий вызов, любой призыв Божий. Разве не ясно, что в таком случае, если мы хотим, чтобы наша встреча с Богом стала возможной, если хотим видеть и слышать, недостаточно просто иметь уши и глаза? В нас должен быть порыв, желание, мы должны стремиться услышать и увидеть.

А для этого нужна любовь, хотя бы малая. На первой странице той книги, которую я уже цитировал, Чарльз Уильямс показывает нам душу своей погибшей героини на одном из лондонских мостов, где ее настигла смерть. Она стоит там уже некоторое время. Она ничего не замечает вокруг, кроме самой себя, той точки земли, где стоит, и самолета, который, разбившись, убил ее. Она ничего не видит, потому что сердцем ни с чем не связана. Мост она видит пустым, хотя на самом деле по нему беспрерывно снуют люди. Дома по обоим берегам Темзы для нее — хмурые стены с серыми глазницами: окна то освещаются, то гаснут, но ничего не значат для нее, в них нет ни смысла, ни содержания. У нее нет ключа к тому, что ее окружает, потому что она никогда ничего не любила и чужда этому обыденному миру. И вдруг по мосту проходит ее муж, теперь овдовевший. Они замечают друг друга. Он — потому что любит ее, хранит ее в сердце, оплакивает и ищет в незримом. Лестер видит его, потому что он — единственный, кого она когда-либо любила своей жалкой, эгоистичной любовью. Он — единственный, кого она способна увидеть. Она видит его. Он проходит. Но в этот миг ее сердце проснулось, и через мужа она осознает все, что с ней связано: мужа, их дом, всех их знакомых. И постепенно через это таинство любви она начинает меняться и открывает для себя тот мир, в котором жила, не зная его, и одновременно тот огромный, глубокий мир, в котором живет теперь. Эти два мира взаимно проникают один другой, соприисущи друг другу — вот суть философской теории Чарльза Уильямса. Потому что мы видим только то, что любим. Нам кажется, будто мы видим то, что нам ненавистно, на самом деле ненависть нам представляет искаженные образы, уродливые карикатуры. А безразличие, равнодушие — слепы.

Но чтобы достичь глубинного, истинного познания, чтобы видение реальности соответствовало своему предмету, недостаточно видеть, слышать или даже любить: надо еще иметь чистое сердце, способное различить Бога за слоями окружающей потемненности, которые Его скрывают. Потому что подобно тому, как око, потерявшее чистоту, ясность, отбрасывает на все, что видит, свое потемнение, так сердце, потерявшее цельность, не может ни оценивать, ни улавливать реальность вещей, как ее видит Бог. Это

ясно показывает эпизод из жизни Отцов пустыни. Один из них с учениками подходит к воротам Александрии. По дороге навстречу приближается прекрасной внешности женщина. Ученики покрывают лица плащами, чтобы не впасть в искушение. Они, возможно, избежали искушения плоти, но не любопытства: из-под плащей они наблюдают за своим наставником и с возмущенным изумлением видят, что он во все глаза рассматривает женщину. Когда она входит в город, они опускают плащи и спрашивают: «Как же ты поддался искушению смотреть на эту женщину?» И тот с печалью отвечает им: «Как же нечисто ваше сердце! Вы увидели в ней только предмет искушения, а я увидел в ней чудное творение Божие».

Итак, каждая встреча, будь то с человеком, будь то с Богом, требует не просто специфических условий. Когда мы ищем Бога, она требует любви к человеку, когда мы обращаемся к человеку, она требует любви к Богу. Один русский старец рассказывает в письме, как однажды ему поставили вопрос: «Каким образом работники, которые тебе поручены, работают так усердно и честно, хотя ты за ними не следишь? А наши, за которыми мы следим, все время пытаются нас обмануть?» И его ответ был таков: «Когда я утром прихожу раздать им работу, меня охватывает жалость — как же они, должно быть, бедны, если оставили свои деревни и семьи ради грошового заработка! И, раздав им задание, я ухожу в келью и молюсь о каждом из них. Я обращаюсь к Богу и говорю: „Господи, посмотри на Николая! Он так молод. Он оставил свою деревню, его молодой жене всего-то девятнадцать лет, он оставил новорожденного ребенка, потому что слишком бедно было дома, он не мог их прокормить. Вспомни его, огради его от дурных мыслей. Подумай о ней и будь ей защитником!“ И так я молюсь, но постепенно, по мере того как молитва становится горячее, нарастает чувство близости Божией, и наступает момент, когда оно так сильно, что я уже не могу различить ничего земного. Земля исчезает, остается только Бог. И я забываю Николая, его жену, ребенка, его деревню, его бедность, и меня уносит в глубины Божии. И в этих глубинах я нахожу Божественную любовь и в ней — Николая, его жену, ребенка, их нужды. И любовь Божия, как поток, меня уносит и возвращает на землю, чтобы молиться и молить о них. И то же самое повторяется: нарастает чувство Бога, земля отходит, меня снова уносит в Божественные глубины, где я снова нахожу этот мир, который так возлюбил Бог». Встреча с Богом, встреча с человеком возможны лишь в той мере, в какой Бог и человек так любимы, что молящийся может забыть о себе, освободиться от себя, остается лишь его порыв *к ним*, ради них. Это одно из основных свойств заступнической молитвы.

Мне хотелось бы поговорить о встрече еще с некоторых точек зрения и прежде всего подчеркнуть, что эта встреча с Богом и с человеком *опасна*. Не случайно восточное предание дзэн называет место, где мы можем найти Того, Кого ищем, «логовом тигра». Искать встречи с Богом нас побуждает дерзновенное мужество, если только этот поиск — не акт глубочайшего смирения. Встреча с Богом всегда — кризис, а по-гречески это слово означает *суд*. Эта встреча сопровождается восхищением и смирением; или мы можем испытать при ней ужас и чувство собственного осуждения. Поэтому неудивительно, что православные руководства к молитве очень мало места уделяют вопросам техники и методики, а советы относительно нравственных и духовных условий, делающих молитву возможной, бесчисленны. Вспомним некоторые из них. Во-первых, евангельская заповедь: *если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой* (Мф 5:23—24). Этой заповеди так четко, так прекрасно вторит святой Симеон Новый Богослов, который говорит нам, что если мы хотим молиться от всего сердца, то должны примириться с Богом, с нашей совестью, с нашим ближним и даже с окружающими нас предметами. Иначе говоря, условие молитвенной жизни — жизнь по Евангелию, жизнь, при которой

евангельские заповеди и заветы станут нашей второй природой. Потому что недостаточно исполнять их, как раб или наемник исполняет волю своего господина; мы должны возжелать их всем сердцем, подобно сынам, детям Царствия, которые искренне хотят, чтобы исполнилась молитва: *да святится Имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя.*

Рассмотрим теперь встречу с Богом на ряде конкретных ситуаций: встреча в смирении, встреча в правде, встреча в отчаянии, встреча среди сумятицы, встреча в жизни, встреча в безмолвии и встреча в богослужении.

Если бы мы помнили, что всякая встреча с Богом, как всякая глубокая встреча с человеком, есть суд и кризис, мы искали бы Бога сердцем более цельным, но гораздо более осмотрительно. Мы не огорчались бы, если эта встреча не происходит немедленно, мы шли бы к Богу трепетным сердцем. Так мы избежали бы многих разочарований, многих бесплодных усилий, потому что Бог не открывается нам, если встреча может оказаться для нас губительной. Порой Он готовит нас к встрече долгим ожиданием. Евангелие дает нам примеры духовного поведения, которым надо следовать. Евангелист Лука представляет нам десять прокаженных, которые ищут исцеления (Лк 17:11—19). Они идут ко Христу, останавливаются на расстоянии, потому что знают о своей нечистоте, и из глубины своего несчастья зывают к Господу со всей верой, всей надеждой, на которые способны, но не осмеливаются приблизиться к Нему. И Господь ни шагу не делает к ним навстречу, Он просто повелевает им пойти показаться священникам. Он ничего им не обещает, Он посылает их к исцелению. И исцеление им дается в их вере и надежде, в их смиренном послушании. Насколько отличается их послушливое смирение от нашего «смиренного» приближения, которое должно бы совершаться в благоговейном трепете — а так часто бывает полно высокомерия, дерзости!

Вспомним пример апостола Петра, который, прозрев через откровение слова и чудесный лов рыб Божество пришедшего к нему Наставника, упал к Его ногам и воскликнул: выйди от меня, Господи, я человек грешный! Видение святости и славы Божией подвигло его не искать близости, которой он не смог бы вынести; он попросил Господа отойти. Господь Сам захотел остаться (Лк 5:8).

Мы находим в Евангелии и рассказ о сотнике, который просил Христа исцелить его слугу; и когда Господь сказал: приду, исцелю, тот ответил: нет, Господи, *я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово* (Лк 7:6—10). Полная вера, совершенное доверие и такое смирение, при виде которого мы должны были бы устыдиться: ведь мы недостаточно сознаем себя грешниками, недостойными, чтобы просить Господа не утруждать Себя и в то же время знать, что Он все может для нас сделать.

Однако именно это и есть основное положение: пока мы не перестанем искать осязаемого, ослепительного присутствия Господа, мы устремляемся навстречу собственному осуждению. Если Господь приходит к нам, с какой радостью, с каким смирением должны мы открыться Ему! Но нам не следует дерзновенно искать мистического опыта, когда нам приличествует только покаяние, когда мы должны сначала обратиться, то есть повернуться к Богу. Наша молитва должна начаться с крика: «Господи, сделай меня тем, кем я должен быть, во что бы то ни стало перемени меня, любой ценой!» И произнеся эти опасные, страшные слова, мы должны быть готовы к тому, что Бог их услышит. А слова эти опасны, потому что любовь Божия беспощадна. Бог хочет нашего спасения со всей непреклонностью, всей решимостью, каких оно стоит. Как говорится в «Пастыре» Ерма, «не оставит тебя Бог, доколе не сокрушит либо сердце твое, либо кости твои».

Второй аспект встречи — встреча в правде. Встреча бывает истинная, только когда оба ее участника истинны. С такой точки зрения мы все время вносим искажения в эту встречу. Мы не только сами не умеем быть правдивыми, но и Бога представляем себе в ложном образе. На протяжении дня в разных положениях мы бываем целым рядом личностей, часто неузнаваемых и для нас самих, и для других. И когда наступает время молитвы и мы хотим встать перед Богом *в духе и истине* (Ин 4:23—24), мы порой теряемся, не зная, какая из них — наша подлинная человеческая личность, потому что не ощущаем нашего глубинного «я». И различные личности, которые мы последовательно ставим перед Богом, не являются подлинными. В каждой есть частица нас самих, но цельности в них нет. И поэтому молитва, которая могла бы с силой вырваться из сердца нашей подлинной личности, не может пробить себе путь среди подставных личин, которые сменяют друг друга перед Богом. Каждая из них что-то произносит, что частично истинно, поскольку отчасти выражает наше существо в целом, и бессмысленно для всех подставных личностей, сменявших друг друга на протяжении дня. Чрезвычайно важно нам научиться находить цельность, основное, глубинное единство нашего существа, иначе мы никогда не встретим Бога в правде. Этому достигают долгим трудом. Мы должны постоянно следить за собой, чтобы ни движением, ни словом, ни внутренним настроением, несовместимым с цельностью, не разбивать ту основоположную цельность нашей личности, которой ищем. Нам надо отыскать наше подлинное «я», внутреннее сокровенное «я», которое одновременно — зачаток будущего человека и единственная вечная реальность, уже существующая в нас. Поиск этот трудный, потому что различные составные части самих себя нам приходится разыскивать среди множества подставных личностей. Моментами пробивается что-то подлинное, моментами, когда мы забываем о себе, эта глубинная реальность становится конкретной. Это бывает в мгновения, когда радость охватывает нас до такой степени, что мы забываем следить за собой как бы извне, или в мгновения раздирающего душу горя, когда мы тоже не наблюдаем за тем, как живем, забываем и о тех, кто смотрит на нас, судит нас, в мгновения углубленности, когда нас охватывает чувство трагичности или восхищения. В такие моменты мы улавливаем в себе что-то подлинное. Но едва оно мелькнет, как очень часто — слишком часто! — мы отворачиваемся, не хотим встретиться с ним лицом к лицу: нам страшно, оно нас отталкивает.

И, однако, это единственное, что в нас есть подлинного. И Бог может спасти наше подлинное «я», как бы уродливо оно ни было, но Он не может спасти воображаемую личность, которую мы пытаемся поставить перед Ним или играем целыми днями перед другими людьми и перед самими собой. За пределами этих случайных, мимолетных проявлений нашего подлинного «я» нам надо систематически искать в глубинах, что мы такое перед Богом, искать Бога в себе, искать себя в Нем. Это требует постоянного размышления, изо дня в день, всю жизнь.

Начать можно с простого. Читая Священное Писание, если мы честны, мы признаем, что некоторые места нас мало трогают, не задевают: мы готовы согласиться с Богом, потому что ничто не побуждает нас возражать Ему. Мы готовы принять ту или другую заповедь или действие Божие, потому что они не задевают нас непосредственно и мы еще не видим, чего они от нас потребуют. Другие места, если говорить откровенно, нас отталкивают. Если бы у нас хватило мужества, мы бы сказали Богу «нет!». Эти места надо тщательно отметить. Они позволяют нам измерить расстояние между нами и Богом, но также — и это, вероятно, еще важнее для нашей цели — они позволяют измерить расстояние между нашим теперешним «я» и тем, во что мы могли бы вырасти. Потому что Евангелие — не перечень формальных заповедей, это ряд внутренних образов. И всякий раз, когда мы говорим Евангелию «нет», мы отказываемся быть человеком в полном смысле этого слова.

И наконец, есть в Евангелии места, от которых сердце загорается в нас, которые освещают наш ум, подвигают всю нашу волю, они дают жизнь и собранность всему нашему духовному и телесному существу. Эти места указывают, в чем Бог и Его образ в нас уже совпадают, места, где мы уже хотя бы на мгновение, хоть в слабой степени, но являемся тем, чем мы призваны стать. Эти редкие и драгоценные места надо отмечать еще тщательнее, чем предыдущие. Это — точки, где образ Божий уже проступает в чертах нашего падшего человечества. И начиная с этих проблесков, мы можем стать тем, что заложено в нас как возможность, что понемногу растет в нас, чем (как мы чувствуем) мы хотим и должны быть. Нужно хранить верность этим откровениям, хотя бы в этом мы должны всегда остаться верными. Если мы будем так поступать, этих мест будет становиться все больше, евангельский призыв будет охватывать все бóльшую область в нас, он станет конкретным, все более требовательным, и постепенно из тумана проступит и проявится образ нашей подлинной личности. Тогда мы можем стоять перед Богом в истине. Однако наряду с этой основоположной, сущностной истиной есть и неполная, частичная истина каждого мгновения.

Как часто нашу молитву искажает то, что мы пытаемся стать перед Богом не такими, какие мы есть, а такими, какими, как мы воображаем, Он хочет нас видеть: мы приходим к Нему словно ряженые, втиснутые в рамки взятых напрокат отношений. Очень важно, прежде чем мы начнем молиться, дать себе время прийти в себя, оглянуться на себя и осознать, в каком расположении духа мы пришли к Богу. Бывают дни, когда сердце наше открыто Ему и мы могли бы сказать: *Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Как лань желает к потокам вод, так желает душа моя к Тебе* (Пс 56:8; 41:2). Но очень часто мы плетемся к Нему унылым усилием воли. Мы исполняем долг, не вкладывая сердца; мы принуждаем себя внешне быть тем, чем, как мы знаем, являемся в самых наших глубинах, но чего сейчас не ощущаем; источник живой воды иссяк в песке, который остался сухой и горячий. Мы так и должны сказать Тому, Кто есть Истина: «Господи, я пришел к Тебе сухим сердцем, но я заставляю себя предстать перед Твоим лицом по глубокому убеждению. Я Тебя люблю, я поклоняюсь Тебе в самых моих глубинах, но сегодня эти глубины не выходят на поверхность». Иногда мы обнаруживаем, что стоим перед Богом не из глубины убеждения, а что нас привел перед Его лицо почти суеверный, а не благоговейный страх: если не помолюсь, Бог не защитит. Надо признаться Богу в этом недоверии, которое ставит под сомнение Его любовь и Его верность. Мало ли в каких еще состояниях мы предстаем перед Богом. Мы должны отдавать себе отчет, что можем молиться Богу изнутри этих состояний, а не поверхностно. Иначе наша молитва не будет содержать даже истины данного мгновения. Она будет от начала до конца предательством как ветхого Адама, так и нового Адама (1 Кор 15:45) в нас. Она не будет истинна ни по отношению к тому, что в нас есть устойчивого и вечного, ни к состоянию данного момента, в котором мы находимся.

Но встреча зависит не только от того, что один из собеседников истинен, Другой так же важен. Бог, навстречу Которому мы идем, должен быть столь же истинен, как ищущий Его человек. Вы скажете, что Бог всегда истинен, всегда является Самим Собой, Он неизменен. Да, разумеется, но нашу молитву определяет не только Бог, Каков Он есть, но еще в большей степени тот образ Божий, который мы создаем себе, потому что наше отношение к Нему зависит не только от того, чем Он является на самом деле, но от того, каким мы Его представляем. Если мы предстаем перед ложным образом Бога, мы будем приспособлять свою молитву и свое внутреннее отношение к этому образу, а не к искаженной им Реальности. Так что очень важно на протяжении всей жизни, изо дня в день, учиться познавать Бога, Каков Он есть: не в Его частичных проявлениях, когда мы представляем Его то неумолимым Судьей, то благостным Спасителем, а во всей многогранности Его личности. Следует также быть осторожным и не вообразить, будто

вся полнота человеческого знания о Боге может составить подлинный образ Живого Бога. Бог, даже открываясь в Священном Писании, не открывается окончательно и полно, и если мы пытаемся стать перед образом Божиим, составленным из всего того, что знаем из откровения, из опыта Церкви, из собственного опыта, нам грозит опасность поставить перед собой образ, который ложен, потому что претендует на полноту, а на самом деле является лишь жалким приближением и из-за этого, по слову святого Григория Богослова, становится идолом. Вот почему отцы Церкви постоянно настаивают на том, что необходимо подходить к Богу, ничего не воображая, не представляя. Все, что мы знаем о Боге, должно нас привести к Нему, но в тот миг, когда мы встаем перед ним, мы должны отбросить все наше знание, как бы оно ни было богато и верно, и стоять перед Богом неведомым, перед тайной, перед Божественным мраком, перед Его светом, готовые встретить Бога таким, каким Он захочет явить нам Себя сегодня. Иначе перед нами окажется вчерашний Бог, то есть наш собственный опыт Бога, а не истинный Бог, тогда как цель нашего искания — подлинный Бог, единственный наш Собеседник в подлинной молитве. Эта встреча *в истине* с самого начала исключает возможность построить искусственное присутствие, потому что мы ищем не плодов этой встречи — радости, переживаний, внутреннего волнения, — а самой встречи.

В этом же контексте встречи в правде следует признать, что Бог может отсутствовать. Разумеется, это отсутствие субъективное, в том смысле, что Бог всегда присутствует. Но Он остается невидим, неосязаем, Он ускользает от нас. Здесь нам должно помочь то, что уже было сказано о встрече в смирении: когда Бог не дается, когда Его присутствие неосязаемо, мы должны уметь ждать в трепете и благоговении. Но в этом субъективном отсутствии Бога есть и другая сторона. Отношения бывают истинны, только если строятся во взаимной свободе. Мы слишком склонны воображать, будто достаточно нам стать на молитву — и Бог обязан предстать перед нами, обратить на нас внимание, дать нам ощутить Свое присутствие, дать нам уверенность, что слышит нас. В таком случае отношения были бы принудительные, словно механическая связь, из них были бы исключены радость и непосредственность. Это позволило бы также предположить, что мы в любой момент способны встретить Бога. Альфонс де Шатобриан в замечательной книге о молитве «Ответ Господа» говорит, что кажущееся отсутствие Бога чаще всего — следствие нашей собственной слепоты³¹¹. Я хотел бы проиллюстрировать его слова примером.

Как-то пришел ко мне человек, который уже много лет искал Бога, и со слезами сказал: «Отец Антоний, я не могу жить без Бога. Покажите мне Бога!» Я ему ответил, что не могу этого сделать, но если бы и мог, думаю, он сам был бы неспособен Его видеть. Он с удивлением спросил: «Почему?» Тогда я поставил ему вопрос, который я часто ставлю проходящим ко мне людям: «Есть ли в Священном Писании какое-нибудь место, которое вас волнует до глубины сердца, которое вам дороже всего?» «Да, — ответил он, — это рассказ о грешнице в восьмой главе Евангелия от Иоанна» (Ин 8:3—11). Тогда я спросил: «Кем вы видите себя в этой сцене? Женщиной, которая вдруг осознала свой грех и стоит перед судом, зная, что над ней висит суд жизни или смерти? Или вы заодно со все понимающим Христом, Который ее простит, чтобы она жила дальше, теперь уже новой жизнью? Ожидаете ли вы Его ответа с надеждой на прощение, как, вероятно, ждали апостолы? Или вы в толпе, один из старейших, кто, сознавая собственные грехи, уйдет среди первых, или вы один из молодых людей, кто постепенно осознает свою греховность и выпускает камень, уже зажатый в руке? Где вы, кто вы в этой прекрасной, волнующей сцене?» После минутного раздумья этот человек ответил: «Я себя вижу как единственного еврея, который не ушел и побил камнями эту женщину». Я ему тогда сказал: «Вот и ответ: вы не можете увидеть Бога, Которому вы до такой степени чужды».

Нет ли чего-то подобного в опыте каждого из нас? Нет ли в каждом из нас сопротивления, отказа, отрицания Бога? Не ищем ли мы Бога по собственному образу, подходящего нам Бога? Не отвергнем ли мы истинного Бога, если найдем Его? Готовы ли мы к встрече с Богом, Каков бы Он ни был, даже если эта встреча нас осудит и перевернет все наши ценности? Не является ли часто отсутствие Бога в нашей жизни и в нашей молитве результатом того, что мы Ему чужды и, даже встретившись с Ним лицом к лицу, не видим Его, не узнаём? Разве не это случилось в то время, когда Христос проходил по дорогам Иудеи и Галилеи? Сколько Его современников встретили Его и прошли мимо, совершенно не узнав, не заподозрив, что Он не просто прохожий? Не таким ли Его видели толпы, которые спешили на Голгофу, когда Его вели на казнь? Он преступник, нарушитель общественного порядка, ничего больше. Не таким ли мы видим Бога, даже в те моменты, когда мы более чутки и способны уловить, ощутить Его присутствие? Не отворачиваемся ли мы от Него, потому что предчувствуем, что Он разрушит строй нашей жизни, перевернет все ее ценности? В таком случае мы не можем рассчитывать на встречу с Ним в молитве. Скажу больше: мы должны благодарить Бога от всего сердца за то, что Он не предстает перед нами в этот миг, потому что мы сомневаемся в Нем, но не так, как Иов, мы сомневаемся сомнением неблагодарного разбойника на Голгофе, и встреча с Ним была бы нам судом и осуждением. Мы должны уметь оценить это отсутствие Божие и осудить себя, чтобы Он не осудил нас.

Другой аспект такого «отсутствия» может быть прояснен следующим рассказом. Несколько лет назад молодая женщина, которую поразила неизлечимая болезнь, написала мне: «Я так благодарна Богу за эту болезнь! По мере того как мое тело слабеет, мне кажется, что оно становится все доступнее воздействию Божию». Я ей ответил: «Благодарите Бога за то, что Он вам дает, но не надейтесь, что такое состояние будет продолжительно. Придет момент, когда это естественное истощание перестанет вести вас к все большей прозрачности, тогда вам придется полагаться только на милость Божию». Через несколько месяцев она написала мне снова: «Я так слаба, что не могу устремляться к Богу. Единственное, что мне доступно — пребывать в безмолвии, предаться отчаянной надежде, что Бог Сам придет ко мне». И она добавила — и эти-то ее слова и относятся к нашей теме: «Молите Бога дать мне мужество никогда не попытаться построить Его мнимое присутствие, чтобы заполнить ужасающую пустоту Его отсутствия».

Думаю, эти два рассказа не нуждаются в пояснениях. Мы должны положиться только на Бога. Важно, чтобы мы не рассчитывали ни на свои силы, ни на свою слабость. Встреча с Богом — свободный акт, где Бог самовластен, и лишь когда смирение, то есть полная, предельная отданность, соединится в нашем сердце с начатком любви к Богу, мы становимся способными перенести Его отсутствие и даже обогатиться благодаря ему.

Я привел выражение «отчаянная надежда». Вот еще одна возможность встретиться с Богом. Примеры этого мы видим в Евангелии и в житиях святых. В десятой главе Евангелия от Марка мы находим рассказ о слепом Вартимее, сидевшем у ворот Иерихона (Мк 10:46—52), и в этом рассказе о его исцелении есть ряд моментов, существенных для понимания молитвы. Мы слишком часто удивляемся, что молитва наша не услышана. Нам кажется, что достаточно нам произнести ее — и Бог обязан сразу обратить на нее внимание. На деле, если мы строго рассмотрим, что побудило нас к молитве, чего мы требуем, мы увидим, что не всегда просим необходимого, что часто просим излишнего. Легкость, с какой мы оставляем молитву, когда не бываем услышаны тотчас же, доказывает, что, даже когда мы просим у Бога того, без чего не можем жить, у нас недостает терпения, постоянства, настойчивости и в конечном итоге мы предпочитаем жить без необходимого, чем отчаянно бороться за него. Один из отцов Церкви говорит, что молитва подобна стреле. Она, конечно, может лететь, достичь цели и поразить ее. Но

полетит она, только если сильная рука пошлет ее к цели из лука. Она попадет в самую цель, только если зрение стрелка остро и напряжено. А нашей молитве чаще всего недостает именно бодрости духа, напряжения, чувства отчаянной, абсолютно трагичной нужды, в какой мы находимся и откуда должны выбраться во что бы то ни стало, любой ценой.

Вартимей слеп. Мы не знаем, постепенно ли погас свет в его очах, постепенно ли для него погрузился во мрак привычный, столь любимый мир, или он родился слепым. Одно ясно: взрослый человек сидит в придорожной пыли и просит подаяния. Сколько за свою жизнь, за все ее годы, этот человек делал отчаянных усилий вернуть себе зрение! Сколько раз он обращался к врачам, священникам, целителям, просил молитв и помощи всех тех, кто, по его мнению, мог ему помочь. Сколько раз зарождалась надежда — на человека, на разум, на опыт, но также на любовь и сострадание, на человеческую отзывчивость и братство и, еще не раскрывшись до конца, гасла. И теперь мы видим его на обочине, у ворот города, сломленного жизнью: он больше не пытается обрести зрение, лишь выжить благодаря безразличному милосердию прохожих. Его надежда — не пламенное, полное любви милосердие, а холодная милостыня, подаваемая без сострадания, — мимоходом брошенная монета, которая накормит голодного, хотя сам он так и останется безымянным, едва замеченным. А прохожий так же слеп, как нищий у дороги, и его слепота, возможно, еще страшнее, потому что это слепота сердца, слепота совести: человеку чуждо братство людей. Но дело происходит во времена Христа. Слепец, должно быть, слышал о человеке, появившемся в Галилее, который проходит теперь дорогами Иудеи и всей Палестины, творя чудеса. Говорят, этот человек исцелял и слепых, даже слепорожденного (Ин 9:1—7).

Не возродило ли это недоступное присутствие Бога, Который обладает целительной силой, и надежду, и отчаяние? Надежду — потому что Богу все возможно, а отчаяние — потому что сам слепец ничего не может. Если бы Бог пришел к нему, он мог бы исцелить. Но как слепому найти на дорогах Галилеи или Иудеи этого неуловимого Чудотворца, Который постоянно странствует, появляется и сразу исчезает? Это приближение Бога к нам, от которого рождается последняя надежда и глубочайшее отчаяние, известно на опыте не только Вартимею. Мы постоянно оказываемся в этой ситуации. Присутствие Божие, словно меч, отделяет свет от тьмы, но так часто отбрасывает нас в потемки, которые кажутся еще темнее, гуще, потому что нас ослепил проблеск Божественного присутствия. Бог рядом, вечная жизнь возможна — и именно поэтому мы с таким отчаянием воспринимаем перспективу прозябать и дальше временной, преходящей жизнью.

Однажды Вартимей, сидя у дороги, слышит, как мимо идет толпа. Его обостренный слух уловил что-то необычное в шагах проходящих, в их разговорах, во всей атмосфере этой толпы. Это не просто крикливая толпа, шумное, беспорядочное шествие, в ее центре кто-то... Он спрашивает у одного из прохожих: «Кто это?» И ему отвечают: «Иисус из Назарета». И в этот миг все отчаяние целой жизни и вся безумная надежда его души оживают с новой силой: все душевные силы в нем достигают высшего напряжения. Он — в глубочайшем мраке и в ослепительном свете. Он может быть исцелен, потому что Бог проходит мимо. Но нужно не упустить миг, мгновение: Иисус будет рядом всего несколько шагов. Сейчас Он будет проходить, погруженный в беседу с кем-то другим. Через миг Он удалится, пройдет мимо навсегда. И Вартимей кричит в отчаянной надежде: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Это уже исповедание веры. Должно быть, оно глубоко продумано за прошедшие месяцы, когда слепой переживал воображением все рассказы об исцелениях, совершенных Господом. Для него Иисус не просто странствующий пророк, Он — Сын Давидов. Так называет Его слепой, обращаясь со своей мольбой, и вокруг раздаются голоса, приказывающие ему замолчать: как он смеет

прерывать беседу Учителя с учениками? Как он дерзнул обратиться с такой низкой, мелкой нуждой к Тому, Кто говорит о небесном? Но он-то знает, что вся его жизнь, радость и отчаяние целой жизни — в его слепоте и в возможности исцеления. И он взывает, и чем сильнее его заставляют молчать, тем отчаяннее он кричит. И Господь его призывает, Бог его исцеляет и открывает перед ним новую жизнь; он услышан потому именно, что молит и просит о том единственном, что для него имеет абсолютное значение.

Какой богатый урок для нас! Мы должны очень серьезно подходить к молитве, если хотим, чтобы она была в уровень нашего человеческого призвания и достойна Того, Кто в Своем смирении готов нас выслушать. Отчаяние, голод по Богу, крайняя нужда в том, чего мы просим, — вот условия, чтобы стрела нашей молитвы была пущена из натянутого лука сильной и меткой рукой.

В этом рассказе есть особенность, на которой я хотел бы остановиться, — это окружающая молитву сумятица. Встреча Вартимея с Богом произошла при двойном смятении: внутреннем смятении борющихся в нем противоположных чувств — надежды и отчаяния, страха и порыва, и внешней сумятице голосов, которые приказывали ему замолкнуть, потому что Господь занят вещами более достойными Его величия и святости. И не только Вартимей встречает Господа среди шума и суеты. Вся наша жизнь — непрерывное волнение, череда ситуаций, которые требуют нашего участия, череда чувств, мыслей, движений сердца и воли, то согласных, то противоборствующих, то сливающихся, то расходящихся, и в этом внутреннем и внешнем смятении наша душа тянется к Господу, зовет его, в Нем ищет себе успокоения. И мы так часто воображаем, что было бы легко молиться, если бы нам ничто не мешало, а между тем самое это смятение может стать опорой нашей молитве.

Но как молиться среди смятения? Я хотел бы дать несколько примеров, которые помогут нам понять глубинную возможность этого, я бы даже сказал — преимущество такого смятения, которое, как неровности в скале, помогает нам восходить к вершине, когда мы неспособны взлететь. Первый рассказ взят из житий святых. Некий отшельник встречается в горах другого подвижника молитвы. Завязывается беседа, в ходе которой посетитель, пораженный молитвенным состоянием своего собеседника, спрашивает: «Отче, кто тебя научил непрестанной молитве?» И тот, прозрев в нем духовно опытного человека, отвечает: «Не каждому я бы так ответил, но тебе скажу: бесы научили». Пустынник говорит ему: «Я думаю, что понимаю тебя, отче, но можешь ли пояснить подробнее, как это было, чтобы я знал, что не ошибся». И тот рассказал следующее. «Когда я был молод, я был неграмотный, жил в деревне. Однажды в храме я услышал, как дьякон читает Послание апостола Павла, где дается заповедь *непрестанно молиться* (1 Фес 5:17). Эти слова озарили меня радостью и светом, по окончании службы я с ликующим сердцем оставил деревню и ушел в горы, чтобы жить одной молитвой. В таком состоянии я провел несколько часов. Потом стало смеркаться, холодать, стали раздаваться вокруг меня пугающие звуки: шаги, вой зверей, чьи-то глаза засверкали, хищные звери стали выходить из своих логовищ в поисках пищи. На меня напал страх, он все возрастал по мере того, как темнота сгущалась. Вся ночь прошла в ужасе от шорохов в лесу, теней, сверканья глаз, чувства собственного бессилия и сознания, что неизвестно где искать помощи. И я начал взывать к Богу единственными словами, которые родились из трагичности моего положения, из охватившего меня ужаса: *Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного!*

Так прошла первая ночь. Утром страхи немного рассеялись, но меня начал терзать голод, я искал себе пищи в кустах и на полянах и едва мог его утолить. А когда день стал

клониться к вечеру и я почувствовал, что ночные ужасы снова окружают меня, я стал звать к Богу в страхе и надежде. Так прошли дни, месяцы. Постепенно я привык к окружающим меня природным опасностям, но по мере того как я продолжал борьбу за непрестанную молитву, появились новые искушения и испытания. Бесы, страсти начали нападать на меня со всех сторон, и когда ночные хищники перестали быть источником ужаса для меня, темные силы ополчились на мою душу. И еще сильнее я кричал к Богу те слова, которые вырвались из моего сердца в первый миг ужаса: *Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного!* Эта борьба продолжалась годами. Однажды я дошел до предела своих сил. Я непрестанно вызвал к Богу из глубины своего отчаяния и тоски и не получал ответа, и мне представилось, что Бог неумолим. И в момент, когда последняя ниточка надежды оборвалась в моей душе, когда я сдался и сказал Богу: „Ты молчишь, Ты безразличен к тому, что происходит со мной, но Ты мой Бог и Господь, и я умру на месте скорее, чем перестану искать Тебя“, — внезапно Господь явился мне, и покой сошел не только на мою душу, но на все, что меня окружало. Прежде все казалось мне покрытым тьмой, теперь я все видел в Божественном свете, в блистании благодати присутствия Божия. И тогда в порыве любви и благодарности я воззвал к Богу единственной молитвой, которая выражала все мои чувства: *Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного!* И с тех пор в радости и тоске, в искушении и борьбе или в моменты, когда сходит на меня покой, эти слова непрестанно рождаются в моем сердце. Они — песнь ликования, они и призыв к Богу, они и мой покаянный вопль».

Этот пример безвестного подвижника нам показывает, как подлинная тоска, реальное отчаяние, смятение, когда мы боремся с ним, естественно рождает в нас молитву; и тогда молитва — отчаянный крик, который рождается из надежды более сильной, чем отчаяние, который питается отчаянием и его преодолевает.

Часто нас окружает волнение гораздо менее трагичное, чем то, что пережил этот молодой подвижник, но мы поддаемся ему, впускаем его в себя, и в этом наше поражение. Наша молитва непрочно, колеблется, потому что сама пронизана смятением, неуверенностью, ей недостает постоянства. Не это ли мы находим в евангельском рассказе о буре на море Галилейском (Мк 4:35—41)? Господь с учениками на море. На середине плавания их застигает буря. Смерть реет вокруг них, воды разверзаются, готовые поглотить лодку, ветер их бьет. Они изо всех сил борются за спасение жизни, а Господь в это время спит на корме лодки, подложив что-то под голову, спокойным (как им кажется) сном. И ученики не могут перенести этого покоя, будто бы безразличия Божия и из глубины своей отчаянной нужды оборачиваются ко Христу, будят Его, они хотят принудить Его осознать, что происходит: «Господи, не видишь ли, что мы гибнем?» Чего же они на самом деле добиваются? Обращаются ли они к Господу, чтобы Он успокоил бурю? И да, и нет. В первую очередь им хочется, чтобы Господь разделил их ужас, непосильное им внутреннее смятение. Им кажется, что Господь им не поможет, если Сам не будет вовлечен в это бремя. И Господь поднимается, Он отказывается поддаться смятению их мыслей, их сердец, Он отказывается впустить в Себя внешнюю бурю. Он поднимается в свойственном Ему невозмутимом покое. К ученикам Он оборачивается с упреком: *маловеры, сколько Мне быть с вами?! И, повернувшись к буре, проливает на нее Свой собственный внутренний покой. Он приказывает волнам успокоиться, ветру утихнуть, и Его внутренний покой покрывает все, что Его окружает. Все успокаивается, и ученики припадают к Его ногам: кто Он? Они все еще в сомнениях.*

Часто мы совершаем эту же ошибку: вместо того, чтобы искать божественного покоя, мы просим Бога разделить наше смятение. Конечно, Он входит в него, но со Своим покоем. Такое смятение, большое или малое, дисгармонию, разлад, расстройство мы постоянно находим в нашей внутренней и внешней жизни; она состоит из событий, которые мы не

умеет понять, и из человеческих действий, которые сами лишены стройности. Это и есть основная проблема: связь, которую мы должны установить между суетой жизни и внутренней молитвой, между смятением и покоем. С самого начала мы должны отдавать себе отчет в том, что при каждом столкновении внутреннего покоя с яростным натиском жизни победа заранее принадлежит смятению, потому что молитва наша хрупка, а жизнь жестка. Жизнь беспощадна, она ни перед чем не останавливается, а наша молитва, внутренняя устойчивость, покой, молчание, весь внутренний мир, который принадлежит Богу, уязвим и хрупок. Если мы хотим, чтобы он устоял, если хотим, чтобы он пронизал жизнь и победил ее, то этого следует достигать не открытым противостоянием и борьбой; покой должен охватывать наш земной мир, как вода проникает в почву и размывает ее. Святые отцы говорят, что вода — образ смирения: она уходит в глубину, но она же неодолима. Когда она достигает самых глубин, куда ее влекло, и начинает подниматься, никто не может ее остановить. То же самое должно произойти с нашей молитвой.

Молиться в течение целого дня трудно. Иногда мы пытаемся себе это представить, и тогда мы думаем либо о богослужебном строе монастыря, где ведут созерцательный образ жизни, либо о молитвенной жизни отшельника. Мы мало задумываемся о такой молитвенности, которая тесно связана с жизнью, где все становится молитвой, все — повод для молитвы. А ведь осуществить такую молитву очень легко. Но она крайне требовательна, и нам следует быть очень осторожными, чтобы не перенапрячь свои силы. Встанем утром и поставим себя перед Богом: мы пробудились ото сна, который отделяет нас от нашего прошлого, пробуждение ставит нас перед новой реальностью, перед днем, которого никогда в истории не было, перед неведомым еще временем и пространством, которые простираются перед нами, словно снежная равнина, еще не запятнанная ничьими следами. Попросим у Бога, чтобы Он благословил этот день и наш путь в нем. И потом станем относиться серьезно и к собственной просьбе, и к полученному нами безмолвному ответу. Бог благословил нас, Его благословение будет с нами неотлучно во всех обстоятельствах, какие могут принять это благословение, мы лишимся его только в те моменты, когда сами отвернемся от Бога, хотя и тогда Бог останется с нами, оберегая нас, готовый прийти на помощь, готовый вернуть нам благодать, которую мы презрели, стремясь поступать по-своему. Нам дано *всеоружие Божие*, как говорит апостол Павел в шестой главе Послания к Ефессянам (Еф 6:10—17). Вера, надежда, любовь — вот наше оружие, и в то же время — призыв к нам. Мы вступаем в этот день в благодати и славе, с Крестом Господним, нося в себе *мертвость Христову* (2 Кор 4:10).

Но этот день благословлен Богом. Разве это не означает, что все, что произойдет за этот день, все, что с нами случится, будет по воле Божией, содержится в этой воле? Верить в случай, верить в удачу означает неверие Богу. Если все, что бы ни случилось, кто бы нам ни встретился, мы примем в таком расположении духа, мы увидим, что в каждом случае призваны поступить по-христиански. Всякая встреча происходит в Боге и перед Его взором. Мы посланы к каждому, кто встретится на нашем пути, чтобы либо что-то дать, либо что-то принять, порой не сознавая того. Иногда — в счастливом изумлении, что даем то, чем сами не обладаем, порой — в напряженном усилии, вплоть до пролития крови. Однако надо уметь и принимать. Для этого надо уметь встречать ближнего, как мы пытались определить встречу вначале: уметь видеть, уметь слышать, внимать в молчании, уметь любить и отвечать от всей души на то, что нам предлагается — будь то горечь или радость, трагичный или чудесный дар. Мы должны быть уязвимы до предела естественных сил и до конца гибки в руке Божией. События нашей жизни, если мы их примем как дар Божий, предоставят нам в каждый миг возможность творческого делания: быть христианином.

Христиане слишком привыкли, как только встает проблема, как только возникает опасность, обращаться к Богу с криком: «Господи, заступи, спаси, защити меня!» Как часто, вероятно, Господь глядит на нас с грустью и неслышно отвечает нам на том языке, который мог бы коснуться нашего сердца, если бы оно не было так озабочено собственным страхом: Я же *тебя* послал в эту ситуацию, *ты* должен сражаться за Меня, разве ты не принадлежишь войску, авангарду Царства Небесного, которое Я послал на землю? Не сказал ли Я Своим ученикам: *Как Меня послал Отец, так и Я посылаю вас* (Ин 20:21) — жить и умирать? Неужели вы забыли пример и заветы апостолов? Мы должны быть присутствием Христовым на земле, то победоносным, то распинаемым, всегда отдающимся, никогда не стремящимся избежать этого пути. В силе Христовой все нам возможно, но пролить кровь должны мы сами, *мы* должны трудиться и действовать, а не Он должен снова проходить весь крестный путь. Наше призвание — быть там, где мы нужны, а не укрываться в безопасном месте. На протяжении дня, начатого во имя Божие, мы не раз будем задаваться вопросом о его содержании, значении различных его событий. Мы должны уметь размышлять в безмолвии, вдумываться в канву событий, в которых не можем разобраться до конца, — пока вдруг не увидим в них руку Божию. Наша ошибка почти всегда в том, что мы думаем, будто человеческая мудрость, подкрепленная назойливо-просительной молитвой, позволит нам разрешать проблемы вечности. Потому что все, вплоть до самой незначительной детали, как бы принадлежит вечности, становлению мира, частью которого мы являемся. На самом деле человеческая мудрость должна уступить место способности вглядываться, погружаться взором в стоящую перед нами тайну, пытаться различить незримый след Божий, Его премудрость, столь отличную от людской умудренности, — Божественную мудрость, живущую в сердце человека. Мы должны научиться в сумятице жизни быть местом покоя, устойчивости, должны уметь дожидаться момента, когда вдруг до нас дойдет понимание. Английская писательница Эвелин Андерхилл сравнивает совершенного христианина с собакой пастуха, с овчаркой. Овчарка, говорит она, как только слышит голос хозяина, замирает на месте, смотрит ему в глаза, принимает к его взгляду и голосу, чтобы угадать его волю. Затем, как только она поняла, без малейшего колебания она бросается исполнять волю своего хозяина. И (добавляет писательница) у нее есть свойство, редкое среди христиан: она без устали виляет хвостом.

Мы должны уметь путем созерцательного молчания, в молитвенном ожидании различить в основе нашей жизни, ее сумятице, ее видимом беспорядке Божий замысел. Мы должны научиться в молитве же находить мужество, силу, вдохновение и необходимое руководство. Так весь день станет непрестанной молитвой. Но это — идеальное состояние, в которое мы не можем вступить сразу, потому что не привыкли к молитве, к постоянному вниманию, мы не умеем сохранять трезвение среди окружающей нас жизни, которая пронизывает нас, вливается в нас. Мы должны вступать на этот путь постепенно, начиная с нескольких часов, иногда и того короче, потому что, если будем принуждать себя слишком долго и напряжено сосредоточивать свое внимание, наступит момент, когда наши силы истощатся. Это не значит, что благодать привела нас к ошибкам — просто человеческий инструмент еще слишком хрупок. Тогда нас охватит отвращение, усталость от молитвы; самые живые слова станут пеплом на устах, нам будет казаться, что этот день мы живем не в Боге и не для Бога. В такие моменты, когда мы сокрушены, потому что жили не в свою меру, надо уметь смиренно признать свое поражение, признать, что мы не доросли до того, чтобы жить в постоянном присутствии Божиим. Тогда следует уметь проявить духовное воздержание и ограничить свои молитвенные порывы, особенно словесное их выражение: надо знать, что, раз испросив Божие благословение на этот день и стараясь жить нерассеянно, без суеты, мы пребудем в том состоянии молитвенности, о котором говорилось выше. А затем постепенное, внимательное воспитание нашего сердца и ума позволит нам проводить целые дни не только в этой молитве для начинающих, уже

сплетшейся с жизнью, но еще не имеющей силы ее преобразить, но и в молитве гораздо более осознанной, более глубокой, о которой мы еще поговорим.

Все это приводит нас к проблеме, которую трудно разрешить начинающим: о роли усилия, месте подвига, трудничества в молитвенной встрече. Легко молиться в восторге, легко молиться в тоске, гораздо труднее молиться в обычные, тусклые дни, когда к этому нет ни внешнего, ни внутреннего побуждения. Тогда надо уметь принуждать себя к молитве. Почему? Потому что наша молитвенная жизнь должна быть выражением не только наших непосредственных чувств, но и наших постоянных, прочных, неотъемлемых убеждений. Это относится ко всем нашим душевным состояниям. Бывают моменты, когда, обессилев от усталости, мы неспособны ощущать глубоко привязанность к самым любимым нами людям; если бы нас о ней спросили, мы могли бы с уверенностью ответить, что она есть, но слишком далеко ушла в глубины, мы ее не ощущаем, а усталость — вот она, одолевает. Чувство есть, но порой жизненный напор, сила, способность отозваться как будто погасли. Нашей жизнью движет только воля. А воля в сочетании с ясными убеждениями, к которым мы относимся ответственно, с порывом, свободным от страсти, — главный двигатель жизни. Если усилие основано только на общественных условностях, оно мертвит, а не животворит душу. Усилие, впрочем, состоит не только из жесткости, оно не безжалостно, оно может сочетаться с большим пониманием себя и других, с большим милосердием. Что касается молитвы, усилие возникает, когда живому чувству недостает интенсивности и яркости, чтобы собрать все душевные силы. Тогда мы должны стать перед Богом актом чистой веры; мы знаем, что Он есть, и знаем, кто Он. Мы идем поклониться Ему с благоговейным страхом, без которого невозможно приблизиться к святости. Собранным, постоянным усилием надо вкладывать в эту встречу все внимание, всю глубину, каких она заслуживает, и прежде всего надо принуждать себя к этой встрече, потому что цель всякой встречи с Богом — не столько непосредственная радость этой встречи, сколько радость, которая постепенно рождается от длительного труда, по мере того как общение с Богом преобразует нас и мы начинаем жить Божественной жизнью, как бы переливающейся через край из Его природы. То есть надо, не пытаясь обманывать себя, еще менее — Бога, встать перед Ним и приносить Ему каждое слово, каждое выражение нашей молитвы из глубины цельного убеждения ума и воли.

Это означает две вещи. С одной стороны, что мы ищем не радости этой встречи, а глубокого преображения, которое только Бог может совершить в нас, что мы готовы, по слову отцов Церкви, дать кровь, чтобы принять Дух, и с другой стороны, что слова нашей молитвы выражают с предельной точностью наши подлинные убеждения. Когда мы молимся собственными словами, молитва наша должна быть трезва, внимательна, безыскусна, она должна выражать как реальность данного момента во всей ее наготе и убожестве, так и наши четкие убеждения и твердую устремленность. Это требует большого, напряженного самоотречения, но само оно — один из существенных элементов этой встречи. Если мы употребляем «готовые» молитвы (а они родились из чувства трагичности и живого порыва великих душ), мы должны быть внимательны, чтобы не солгать Богу под тем предлогом, будто приносим Ему достойные Его молитвы.

На периоды сухости нам надо иметь в запасе молитвы, которые мы в другое время глубоко пережили, на которые отозвались умом, волей и сердцем, — такие молитвы, которые выражают наши глубины, можно принести Богу. Однако порой нам придется выбирать среди них: есть выражения, которые мы можем употреблять в светлые периоды жизни и не можем повторить просто актом веры в самих себя. Когда сердце наше двоится, когда все колеблется внутри нас и вокруг, мы не можем сказать Господу: *Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое* (Пс 56:8). Многие выражения в какие-то моменты

превосходят реальность. Тогда надо их разнообразить, даже изменять, чтобы говорить Богу только правду. Надо найти равновесие и уметь выражать твердые убеждения и одновременно избежать опасности исказить наше истинное состояние данного момента. И еще очень важно научиться употреблять эти молитвы, чтобы пробуждать задремавшую душу, вернуть ее к жизни. Потому что слово Божие животворит. На периоды упадка можно посоветовать две вещи. Первое — начать с чтения Священного Писания. Когда душа тусклая, жизнь как будто погасла, можно тем не менее сеять слово, и возможно, душа наша более, чем нам казалось, готова принять его, отозваться и принести плод. И здесь надо выбрать среди текстов Священного Писания те, которые нас обычно трогают, над которыми мы много размышляли, на которые душа наша отзывалась живо, которые связаны с нашей внутренней жизнью, которые проникли в нее, как те три меры дрожжей, какие женщина бросает в тесто, чтобы оно поднялось (Мф 13:33). В периоды, когда в душе темно, надо перечитывать, снова продумывать такие места, надо, опираясь на них, возносить молитву, быть может, и холодную, как будто безжизненную, но которая правдива. Кстати, так поступать можно не только в периоды трудничества. Священное Писание — это слово, с которым Бог обращается к нам, начать с него и отозваться бывает очень плодотворно для внутренней жизни, но в моменты упадка душевных сил поступать так тем более оправданно, что слово Божие сильно и действенно, это творческое слово, оно звучит и проникает глубже, чем в доступные, поверхностные слои души, оно потрясает самые ее глубины, потому что слово Божие — жизнь и может вернуть нам жизнь присущей ему силой, потому что это слово Самого Бога, Который обращается к нашей душе.

Если мы пользуемся молитвами, сложенными святыми (как я уже сказал, у нас должен быть некоторый их запас), готовыми выручить нас, главное затруднение, с которым мы столкнемся в эти моменты внутренней мертвости, в том, что мы не знаем, куда обратиться. Куда направить молитву: Бог как будто отсутствует, небо пусто, и нам кажется, что наш крик отчаяния никто не слышит. Вспомните строки Верхарна:

Ночь в небо зимнее свою возносит чашу.

И душу я взношу, скорбящую, ночную,
О Господи, к Тебе, в Твои ночные дали!
Но нет в них ничего, о чем я здесь тоскую,
И капля не падет с небес в мои печали.
Я знаю: Ты — мечта! И все ж во мраке ночи,
Колени преклонив, Тебе молюсь смиренно...
Но Твой не внемлет слух, Твои не видят очи,
Лишь о себе самом я грежу во вселенной.
О, сжался, Господи, над бредом и страданьем,
Я должен скорбь излить здесь, пред Твоим молчаньем.

Ночь в небо зимнее свою возносит чашу³¹².

Или Клоделя:

Я здесь, ее здесь нет, дышит ужасом тишина.
Мы пропали: нас, как зерна, трясет в своем решете Сатана.

Я страдаю, страдает она, — и она от меня далека,
От нее не дотянется ко мне ни слово, ни рука.

Все, чем связаны мы, — это мрак, прерывающий всякую связь,
Цепенящий мрак и чудовищная, безнадежная страсть.

Вслушиваюсь: рядом нет никого, и страх овладевает мной,
Мне чудится ее голос, ее крик в темноте ночной.

Веет слабый ветер, и я, похолодев, молю, уже не веря:
Боже, спаси ее от гибели, вырви из пасти Зверя.

Вновь я чувствую этот вкус, эту горечь смерти во рту,
Вновь осилить не могу эту резь, эту лютую тошноту.

Всю ночь я был один: я топтал виноград в давяльне, шагая
От стены к стене, взрываясь безумным смехом, изнемогая.

Тому, кто создал глаза, нужны ли глаза, чтобы видеть меня?
Тому, кто создал слух, нужны ли уши, чтобы слышать меня?

Как грех ни велик, милость Твоя все же больше, ибо Ты благ.
Нужно молиться: в этот час торжествует всемогущий Враг³¹³.

Тогда надо направить острие нашей молитвы не к Богу, Которого мы не умеем встретить, не к пустому бездонному небу, не к огромности пространства, от которой мы теряемся и исполняем отчаяния, а на самих себя. Каждое слово молитвы следует обратить к собственной дремлющей, унылой, подавленной, как будто мертвой душе. Надо поступить со своей душой, как мать поступает с упрямящимся ребенком: она сажает его на колени и рассказывает ему сказку; сначала ребенок слушает невнимательно, но постепенно начинает вслушиваться со все большим вниманием. Так бывает и с нами: мы должны произносить каждое слово, пытаюсь охватить его умом, не углубляясь мыслью в его смысл, не делая его предметом размышления, а в его простом значении, в его семантической четкости. Произнести слово, приникнуть к нему умом, направить его на собственное сердце, повторить, если надо, фразу или часть ее раз, и два, и три, пытаюсь соединить ее с тем, что еще живо в нас, чтобы разжечь пламя, тлеющее под пеплом. Надо попытаться не напрягать свою волю, а, напротив, дать ей расслабиться, успокоиться. Потому что покой — также один из элементов подвига: способность расслабиться и стать гибким, отдаться не пассивно, а доверчиво и слушать всем умом, отзываться без напряжения теми силами, что еще живы в нашем сердце, на слова, ставшие привычными: эти глубокие слова в свое время родились среди пустыни в сердцах подвижников молитвы, которые жили в Боге. Если мы в простоте, без напряжения, не прилагая новой усталости к той, что уже давит нас, не добавляя нового усилия к тому, что нас уже гнетет, будем слушать эти слова, повторять их, стараться до конца насытиться ими, найти в них смысл, вкус, то часто после какого-то (может быть, и продолжительного) времени эти слова вернут жизнь сначала нашему сердцу, потом и воле, вернут нам способность подняться и действовать той высшей активностью, какой является молитва.

В таком случае наше тело, которое усталостью, расслабленностью или отказом участвовать в порывах души так часто бывает нам помехой в нашей внутренней жизни, сможет оказать нам огромную помощь. Это тело, которое есть частица тела Христова, которое таинственно питается Святыми Дарами, может вернуть жизнь нашей душе. Ведь тело участвует во всех событиях внутренней жизни. Явно или неприметным образом оно участвует в каждом движении души, будь то чувство, отвлеченная мысль, сознательное

действие или даже сверхчувственный опыт. Тело отзывается двояким образом: оно участвует в усилении человека обрести внимание и приспособляется к предмету внимания. Этот двойственный процесс протекает не случайно, в нем участвуют различные части тела в соответствии с предметом внимания, и тот же предмет, в зависимости от того, переживается ли он в мысли или в чувстве, побуждает ли к действию или остается бездейственным, в зависимости от большей или меньшей степени аскетической чистоты, затрагивает различные центры сосредоточения внимания. Тема «прокладывает себе путь». Только блуждающая мысль, не связанная с определенным душевным состоянием, лишена физического места. Она жужжит в голове, не способная собраться, подобная, по слову Феофана Затворника, беспорядочной стае мошек (по Вивекананде: «произвольным прыжкам обезьян с ветки на ветку»³¹⁴).

Как только появляется господствующая мысль или всеподавляющее чувство, вся душевная деятельность объединяется вокруг них, приобретает большую целостность, большую связность, поле сознания суживается и озаряется, и немедленно обнаруживается телесно-душевное «место», центр внимания и характерные для него душевно-телесные явления.

Трудничество, телесный подвиг — вот единственные средства придать молитве полную устойчивость. Спонтанная молитва, родившаяся из восторга или чувства трагичности, зависит от слишком многого; лишь молитва, родившаяся из убеждения, приносимая твердой волей, может поставить нас перед лицом Божиим. В Православной Церкви молитвой устойчивости по преимуществу является так называемая Иисусова молитва: *Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного!*

Встреча человека с Богом в устойчивой молитве непременно приведет к безмолвию, молчанию. Следует сразу различить два рода безмолвия: безмолвие Божие и внутреннее безмолвие человека. Молчание Бога, часто более тяжелое, чем был бы Его отказ, молчание-отсутствие, о котором мы уже говорили, и, с другой стороны, внутреннее безмолвие человека, более глубокое, чем слова, более живое, более богатое общением с Богом, чем какое бы то ни было его выражение. Безмолвие Бога в ответ на молитву может быть недолгим, но может показаться нам и окончательным. Молчание, которым Христос встретил мольбы хананейки (Мф 15:22—28) и которое заставило ее собрать всю веру, всю надежду, всю человеческую любовь, какая у нее была, и принести ее Богу, чтобы и вне избранного народа смогли осуществиться условия Царствия. Такое молчание, вызывающее ответ, безмолвие, благодаря которому человек вырастает в полную свою меру, будь оно преходящим или долговременным, в зависимости от наших сил и нашей верности, приводит нас к более глубоким, более богатым отношениям с Богом, чем легкая встреча. Но порой молчание кажется окончательным и потому ужасным. Вспомните строки Альфреда де Виньи:

О, если правда то, что в ночь пред страшной тайной
Сын человеческий те произнес слова,
И что, презрев наш мир, как выкидыш случайный,
Слепа, глуха, нема над нами синева, —
Путь справедливости: презрительным сознаньем
Принять отсутствие и отвечать молчаньем
На вечное молчанье Божества³¹⁵.

Не такое ли впечатление многие христиане выносят из чтения трагического отрывка — рассказа о Гефсиманском саде? Это молчание ставит перед нами и проблему, которая требует разрешения, проблему молитвы, оставшихся без ответа. Читая Евангелие, мы

видим, что из всех молитв, обращенных к Богу, осталась без ответа единственно Христова молитва Отцу в Гефсиманском борении (Мк 14:32—42). Очень важно осознать это, потому что слишком часто мы пытаемся истолковать молчание Бога человеческим недостатком или Божиим бессилием. Пытаясь оправдать Бога, мы говорим: моя вера, наша вера недостаточна, чтобы Бог отозвался на нее чудом. Когда наша вера колеблется, мы говорим: может быть, Бог не мог ответить по бессилию или по безразличию. То, что молитва Самого Христа осталась безответной, исключает такие объяснения. Вера Христа, Сына Божия, была совершенна и полна, любовь Божия ко Христу — вне сомнений: не свидетельствует ли Он Сам, что и в этот час Отец мог послать Ему на помощь двенадцать легионов ангелов? (Мф 26:53). Он оставлен, потому что Бог предусмотрел для нас нечто лучшее — ценой Его жизни.

Из евангельского контекста безответной молитвы ясно, что молитва бывает бесплодна, когда не подкреплена верой. Вспомните место в Евангелии, где говорится, что Христос не смог совершить никакого чуда в Назарете, потому что не нашел там веры (напр., Мф 13:58). Как только есть вера, налицо — условие чуда, то есть присутствия Царства Божия, пришедшего в силе. И в ответ на наши молитвы Христос помогает нам, спасает нас, не вторгаясь, а поступая со властью, просто потому что Он — Хозяин в Своем Царстве. Но когда наша вера глубоко укоренена в Нем, когда мы способны разделить с Ним Его заботу о мире, тогда мы разделяем одиночество Христа перед лицом безмолвия Божия. Очень важно осознать, что порой либо молчание Бога вызывает к действию все дремлющие силы нашей души, либо Бог взвесил наши силы и дает нам участвовать в искупительном деле Христовом.

Молчание Бога, отсутствие Бога, но также молчание и отсутствие человека. Встреча бывает глубока, достигает совершенства, лишь когда оба ее участника способны пребыть вместе в безмолвии. Пока для поддержания контакта требуется поток слов, движений, пока, чтобы не потерять друг друга из виду, требуются словесные выражения, мы можем с грустной уверенностью сказать, что наши отношения еще не достигли искомой близости и глубины. Нам всем знаком опыт безмолвия, которое сходит на нас, окутывает и соединяет с тем, с кем мы находимся в данный момент. Молчание, которое пронизывает душу до глубин, открывает в душе еще неведомые глубины. Молчание требовательное, бездонное, внутреннее, которое приводит нас к встрече с Богом и в Нем с нашим ближним.

Когда такое безмолвие сходит на нас, нам не нужны слова, чтобы почувствовать тесную близость с нашим собеседником, чтобы приобщиться в самых наших глубинах и даже еще глубже тому, что нас объединяет. И когда это безмолвие достаточно глубоко, из его глубин можно начать говорить, но как бережно, как трезво, как внимательно мы тогда говорим, чтобы не разбить молчание шумом или сумбуром слов. Наша мысль тогда становится созерцательна; наше сознание, вместо того чтобы пытаться, как ему свойственно, создавать множество образов, силится выделить в глубинах нашего сердца предельно простые, светоносные образы. Сознание исполняет свое назначение, его роль служебная, оно лишь выражает что-то, что его превосходит. Наш взор погружается тогда в большие глубины и робко, благоговейно, со страхом пытается выразить увиденное. И пока слова остаются глубоки, пока они не умствуют и не отделяются от всецелого опыта, они не нарушают молчание, а выражают его. Есть замечательные строки у одного средневекового монаха: он говорит, что если Христос действительно — Слово Божие, то мы имеем право сказать, что Отец — то творческое, бездонное молчание, из которого только и может вырваться Слово, до конца и в совершенстве выражающее это молчание.

Нечто подобное мы испытываем в минуты безмолвия. Порой оно сходит на нас, как чудо, как дар Божий, чаще же нам приходится учиться этому внутреннему безмолвию. Один из

его видов — вера; устойчивость, надежда, которая избавляет нас от неуверенности, колебаний, — тоже его аспект; оно же — тот внутренний покой, который греческие Отцы называют *исихией*³¹⁶. В созерцании главное — безмолвие, покрывающая все трепетная, чуткая тишина, которую нельзя определить ни как пассивность, ни как активность. Это спокойная бдительность. И мы должны научиться путем душевно-телесного подвига помогать нашей молитве достичь той совершенной формы, какой является внутреннее молчание.

Поиск безмолвия проходит одновременно в плане человеческом и в плане божественном. С одной стороны, его надо искать, с другой — оно дается. Человеческий поиск этого постоянного внутрипробывания, «хождения перед лицом Божиим» замечательно описан у средневекового автора, Брата Лаврентия³¹⁷. На гораздо более скромном уровне я могу привести пример пожилой женщины, которая годами молилась, и никогда не могла ощутить присутствие Божие, — и обнаружила его в молчании. Вскоре после моего рукоположения я был послан служить на Рождество в старческом доме. Ко мне подошла очень старая женщина и сказала, что уже годами твердит Иисусову молитву, но никогда не ощутила присутствия Божия. По своей неопытности я нашел простое решение ее проблемы. «Где же Богу вставить слово, — сказал я ей, — если вы все время говорите? Дайте Ему эту возможность — помолчите!» — «Но как это сделать?» И я ей дал совет, который с тех пор не раз повторял, потому что тогда он пригодился. Я посоветовал ей после завтрака прибрать комнату, навести в ней уют, сесть так, чтобы видеть ее целиком, с окном и видом на сад, с иконами и лампадкой. «Когда так устроитесь, — сказал я, — отдохните четверть часа в присутствии Божиим, но только не молитесь. Будьте так спокойны, как только можете, а поскольку вы, вероятно, не умеете сидеть без дела, возьмите вязание и вяжите перед лицом Божиим, потом расскажете мне, что произойдет». Через несколько дней она пришла, счастливая: она ощутила, что Бог тут. Я с любопытством спросил ее, что же произошло. Она объяснила, что поступила точно так, как я ей посоветовал: устроилась удобно и огляделась молча, спокойно, зная, что она вправе ничего не делать и не молиться, и впервые за многие годы заметила, что комната ее тихая, уютная, удобная. Она увидела эту комнату будто впервые. Произошла встреча между нею и тем местом, где она жила годами, никогда его не замечая. Потом она прониклась окружающим ее миром и покоем, который подчеркивало тиканье часов и постукивание спиц по ручкам кресла. И постепенно это внешнее безмолвие стало перетекать внутрь, проникать в нее, молчание охватило ее и открыло ей что-то большее, молчание более «насыщенное», которое было не просто отсутствием шума, а богатым, сущностным молчанием, в сердцевине которого она различила Присутствие. И как только она ощутила это Присутствие, в ней родилось желание молитвы — но на этот раз из самых глубин молчания, не потоком слов, не в вихре мыслей, а спокойно выбирая каждое слово из глубин этого молчания и тихо принося его Богу. Сама молитва стала выражением внутреннего молчания, частью того поистине Божественного безмолвия, которое она ощутила. Такой способ доступен всем. Конечно, придется бороться с кружением мыслей, с колебаниями сердца, с порывами плоти, с неустойчивостью воли. Для этого существует множество упражнений, которые относятся одновременно к психологии и к подвижничеству, но и помимо этих упражнений нам очень поможет, если мы спокойно и в уже доступной нам мере безмолвия будем пребывать перед лицом Божиим в уверенности, что Он тут.

Иногда это безмолвие сходит на нас еще ошутимее. Безмолвие и покой в Боге подаются нам, и мы их воспринимаем, когда ничто, казалось бы, этого не предвещало. Молиться за других — это кровь проливать (это слова старца Силуана), и пролитие это идет до истощания всех жизненных сил в любви и сострадании. Но молиться за других означает также идти путем Христовым, стать выражением Его предстательства, соединиться с Ним

в Его молитве и Его воплощении; это значит жить *неизреченными вздыханиями* Духа в наших сердцах (Рим 8:26). И чем живее наша человеческая любовь, чем глубже мы отождествляемся через сострадание с теми, за кого молимся, тем совершеннее наше общение с Премилосердным Господом; наша молитва, родившаяся из человеческой трагедии, уносит нас в сердцевину Божественной тайны. Сначала мы остро сознаем земное страдание, но по мере того как продолжается наша молитва, все явнее становится присутствие Божие и наступает момент, когда мы теряем землю из виду, нас уносит в глубины Божии — в покой, безмолвие, мир, и здесь, в сердцевине тайны любви, мы вновь встречаем тех, сострадание к которым коснулось нашего сердца, кто погружен в Божественную любовь. И тогда Дух Божий, Дух любви пронизывает нас до конца и возвращает к сознанию тварного, — но теперь в нем сплетается полная земная ответственность и все углубляющееся созерцание Живого Бога, Бога любви.

Это безмолвие приводит нас к встрече с Богом в покое, в простоте веры, встрече через то, что порой называют «молитвой просто взглядом», которую так прекрасно выразил крестьянин из Арса. Его святой пастырь, «Арский кюре» спросил, что он часами делает, сидя в церкви, даже не перебирая четки. «Я гляжу на Него, Он глядит на меня, и нам так хорошо вместе», — был ответ. Я смотрю на Него, Он смотрит на меня, и мы счастливы вместе. Но такая молитва без слов — не только молитва, но преображающая сила.

Существует рассказ о том, как созерцательная молитва, просто взгляд, обращенный к Богу, сумел преобразить не только внутренне, но даже внешне ребенка, который отдался со всей непосредственностью такому созерцанию³¹⁸.

Пример Старца Силуана показывает нам, что молитва позволяет охватить одновременно Бога и человека, человека и Бога. Как было сказано вначале, видение глубины вещей позволяет нам познать их реальность, реальную сущность — как нашего видимого ближнего, так и Незримого нашего Ближнего.

Это приводит нас к последнему в исследовании этой встречи: встреча среди человеческого сообщества. Человеческое сообщество предстает нам в двух очень различных аспектах. С одной стороны, это секулярное общество, весь окружающий нас мир людей, неотъемлемой частью которого являемся и мы, с другой стороны — церковное общество, к которому мы тоже принадлежим. В светском обществе присутствие христианина должно быть присутствием Христа. Это предполагает полную самоотдачу. Основоположный акт домостроительства спасения — воплощение Слова Божия: действие, которым трансцендентный и свободный Бог становится одним из нас, солидаризируется с нами навсегда, навеки. Таков должен быть и христианин. Разве Христос не сказал: *как Меня послал Отец, так и Я вас посылаю*, и добавил: *как овец среди волков* (Ин 20:21; Мф 10:16). Он сказал нам, что мы должны быть в мире, но не от мира (Ин 17:14—16). Это обязывает нас идти навстречу миру в его полноте, встречать каждого члена человеческого сообщества лично, но по-своему: перед лицом Божиим, в Боге, и оценивать все по-новому, по примеру Бога, Который пришел не судить мир, но спасти мир, Бога, Который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного для спасения мира. В Евангелии, при встрече Бога с человеком происходит полная переоценка ценностей и суждений. Это не значит, что добро и зло потеряли свое значение, но зло открывается нам как рана, как болезнь, которая постигла нашего ближнего, нас самих. Мы можем ненавидеть зло, без памяти любя ближнего, любя его ценой собственной жизни или смерти. Епископ, пострадавший в России, сказал, что для христианина умереть мучеником — преимущество, потому что только мученик сможет в день Суда встать перед Богом в защиту своих преследователей и сказать: «Господи, в Твое имя и по Твоему примеру я их простил. Тебе больше нечего взыскать с них». Такая переоценка

обусловлена таинством Креста, тем, что невинный погиб за виновного. На Голгофе мы видим три креста: двух разбойников и воплощенного Сына Божия. Разбойник, распятый слева от Господа, судит по человеческим меркам: если незаконный человеческий суд мог допустить преступное распятие Невинного, такой суд не имеет права называться справедливым, преступник может восстать против него, проклясть его, отвергнуть, отрицать. Он умирает бунтарем. Разбойник, распятый справа от Господа, видит, что человеческий суд в своей глубинной неправде может осудить Невинного: тем более может он осудить виновного. Он принимает свое страдание и свое осуждение, потому что страдает и Невинный; он примиряется и входит в рай (Лк 23:40—43). С тех пор как Господь Иисус Христос претерпел Страсти, с тех пор как Бог, пришедший в мир спасти грешников, имел вид преступника, мы не можем судить преступника так, как его судил древний мир, мы больше не можем доверять безотчетно нашим чувствам и разуму.

В свете Божиим мы можем видеть и осуждать дурные поступки — и быть готовыми отдать жизнь за того, кто их совершает. Когда мы становимся их жертвой, мы получаем дополнительную власть, божественную власть простить во времени и в вечности. Это означает, что молитва приводит нас в положение, в котором главное — ежеминутная встреча с миром, ставшим чуждым Богу, и мы делаемся в буквальном смысле слова *священнослужителями*. Мы должны принести в жертву наше собственное «я», мы — народ священный, призванный все привести к святости. Когда мы видим зло, мы его осуждаем, но тот, кто творит зло, — наш брат, и нам надлежит молиться, жить и умирать за него. И здесь встает тема молитвенного предстательства, которую мы рассмотрим чуть дальше.

Откровение Бога во Христе происходит в среде церковной общины. Встреча в христианском понимании, если она подлинна, обнимает одновременно все пространство этого видимого мира и его глубокое содержание, но также и Бога над этим миром, во всей невидимой реальности того, что Его окружает и в Нем содержится; встреча должна быть в уровень всего сущего. К сожалению, неверующий слеп к незримому. Еще трагичнее то, что часто и христианин как будто слеп к незримому, а порой даже воображает, что есть добродетель в том, чтобы ослепить себя и больше не воспринимать видимое, историю, трагическое становление. Христианское сознание должно охватывать все человеческое сообщество с его проблемами, его вечным и временным становлением, и христианская молитва должна шириться, свободно раскрываться и охватывать все. Если бы мы чаще осознавали значение каждой вещи, если бы мы отдавали себе отчет в том, что в мире нет ничего не освященного, что мы сами профанируем его, лишаем качества священного, мы бы меньше рассеивались в молитве. Одна из проблем, смущающих молящегося, состоит в том, что между Богом и им, между спокойной, радостной близостью, свободной от всего видимого, и им самим ложится тень мира, в котором мы живем, заботы, которые кажутся слишком приземленными. Слишком часто, когда встает забота, мешающая нам встретить Бога лицом к лицу в углубленном безмолвии или в богато раскрывшейся молитве, мы пытаемся отстранить предмет заботы, беспокойства, потому что нам кажется, что этот предмет стоит преградой между Богом и нами. Нам кажется почти кощунственным, что что-то может привлечь наше внимание, когда мы находимся в присутствии Божиим. Думаю, очень часто наша встреча с Богом могла бы произойти в этой общей заботе, связывающей нас с Богом, и вместо того чтобы непрестанной борьбой отстранять вполне законные заботы, нам следует представить их Богу во всех подробностях, конкретно, точно, но и трезво. Представить, как мать может принести больного ребенка к врачу, которому доверяет. Представить заботы Богу и сказать: «Смотри, вот что я могу Тебе о них сказать, а теперь Ты, всеведущий, посмотри Сам, рассуди Сам».

И когда мы таким образом представили Богу человека или ситуацию, мы должны уметь отрешиться от них. Здесь вступает вера, и то, насколько легко мы сумеем отрешиться от нашей заботы, позволяет нам измерить нашу веру. Если мы можем сказать: «Господи, я все Тебе сказал, теперь сердце мое успокоилось, и я могу тихо побыть с Тобой» — и если сердце наше действительно мирно, наш ум действительно не смущается больше предметом нашей заботы — значит вера наша полная, цельная. Мы сложили свою ношу к ногам Божиим, теперь Он принял ее на Свои мощные плечи. Приведенный выше рассказ о монахе, который молился за ближних и постепенно терял из виду землю, потому что проникался сознанием Неба, и в следующий миг находил своих ближних в самой сердцевине Божественной любви, мог бы нас научить тому, как легко встретить Бога, если мы приносим свою заботу Ему, если мы делаем это с искренней любовью, а не сосредоточиваясь на себе. Потому что Бог, Которому мы молимся, есть Бог Истории, Он создал нас, пожелал прожить человеком, стать человеком в самом полном и трагичном, самом богатом и самом низком смысле слова, для того чтобы нас спасти и привести к нашей подлинной мере. Это молитвенное предстательство подразумевает полное принятие всего человеческого состояния, столь же полное и окончательное, как действие Бога в Воплощении, принятие ответственным актом, который поддерживает нашу молитву и делает ее истинной. Молитва без действия — ложь. И это приводит нас к самой сути, природе предстательства.

Предстательствовать не означает напоминать Богу о том, что Он забыл сделать. Смысл предстательства в том, чтобы сделать шаг, который поставит нас в сердцевину ситуации, в точку наибольшего напряжения, как бы заставит вклиниться между двумя противостоящими сторонами с предельной отданностью, ответственностью.

Вот пример времен первой мировой и гражданской войны в России, смутной эпохи внешней борьбы и междоусобицы. В небольшом провинциальном городке, который только что перешел из одних рук в другие, оказалась в западне Зоя, молодая женщина лет тридцати, с двумя детьми. Ее муж принадлежит противоположному лагерю, она не сумела убежать вовремя, она прячется, надеется спасти жизнь себе и детям. В страхе проходят сутки, затем еще день, к вечеру дверь домушки, где она прячется, открывается и входит соседка, женщина ее же лет, простая, ничем не выделяющаяся среди других женщина. Она спрашивает: «Вы — такая-то?» Мать в страхе отвечает: «Да». «Вас обнаружили, — говорит соседка, — сегодня ночью за вами придут и расстреляют, вам надо бежать». Мать смотрит на детей и отвечает: «Куда же я уйду? Как бежать с малышами? Они не смогут идти быстро, они не уйдут далеко, да и как меня не узнать — женщину с двумя детьми, которую ищут?» И эта соседка, за миг до того незнакомая, вдруг перестает быть соседкой и становится тем великим, величественным, что Евангелие называет *ближним* — самым близким, тем, кто ближе всех, она становится *ближней* этой матери и ее детям и говорит ей с улыбкой: «Вас не будут искать, потому что я останусь вместо вас». Мать, вероятно, возражает: «Но вас расстреляют!» И та отвечает: «Да, но у меня нет детей, вы *должны* уйти». И мать уходит.

Я рассказываю не о простой жертвенности, я хочу подчеркнуть некоторые моменты этого поступка, которые дают ему ценность и значение во Христе, которые через Крест приводят нас к понятию Воскресения и Жизни Того, Кто велик в малых сих.

Мать ушла, и эта молодая женщина (ее звали Наталья) осталась. Я не пытаюсь представить, что происходило в эту ночь, я хотел бы только провести некоторые параллели, которые, мне кажется, мы вправе провести. Наступала ночь, холодало, осенняя, сырая ночь быстро окутывала ее одиночеством. Эта молодая женщина, одна, оторванная от всех, которой нечего ожидать, кроме смерти, находится перед лицом этой

неминуемой смерти — смерти, которой она никак не причастна: она молода, она жива, и убить должны были не ее. Вспомните Гефсиманский сад. Здесь тоже в холодной, плотной ночи, неподалеку от ближайших друзей, уснувших от усталости и печали, был Человек, тоже молодой, около тридцати лет, Который ждал прихода смерти, ждал, что Его убьют за других, потому что Он согласился на смерть, чтобы человек, друг Его, и каждый человек в отдельности — вы, я, ты, и она, и они, и мы, — чтобы каждый был спасен, чтобы каждый избежал этой ночи, которой Он был пленником. Мы знаем из Писаний, как в тоске Он воззвал к Отцу, знаем о кровавом поте, знаем, что, не выдержав одиночества перед грядущей смертью, Он пошел к ученикам: не бодрствует ли кто из них? — и вернулся одиноко, чтобы встретить лицом к лицу смерть, чужую, заимствованную, невозможную, немислимую смерть. Вот первый образ: Наталья во Христе.

Верно, Наталья не раз подходила к двери, смотрела и думала: стоит открыть дверь — и я уже не Зоя, я снова Наталья, я не обречена на смерть, никто меня не тронет. Но она не вышла. Мы можем измерить, что означает эта тоска, этот ужас, вспомнив двор в доме Каиафы (Мк 14:66—72). Петр — камень, Петр, крепчайший апостол, который заявил Христу, что не отречется от Него, даже если все остальные отрекутся, пойдет с Ним на смерть, — Петр сталкивается с молодой женщиной, служанкой, и достаточно этой служанке сказать: и ты от них, — чтобы он отозвался: нет, не знаю я этого Человека! Он отходит, снова отрекается и в третий раз запечатлевает свой отказ, а затем оборачивается и встречается взором со Христом. Наталья тоже могла бы отречься, сказать: я не хочу умирать, я отказываюсь, ухожу на свободу. Но она этого не сделала. Эта хрупкая женщина двадцати семи или тридцати лет силой Христовой смогла устоять там, где вся человеческая крепость Петра не устояла, — прежде Воскресения, прежде победы Божией за нас и в нас.

Кроме того, эта молодая женщина, должно быть, задавалась вопросом, не напрасна ли будет ее смерть. Умереть, чтобы мать с детьми спаслись, — да, можно, но какая ужасная, трагическая нелепость, если и их схватят, и ее расстреляют... Вспомните величайшего из рожденных женами (Мф 11:11), Иоанна Крестителя. В конце жизни, тоже перед лицом неминуемой смерти, Иоанн Креститель посылает двух учеников спросить у Христа: «Ты ли Тот, Кого мы ожидали, или ждать нам другого?» (Мф 11:2—6). Сколько трагизма в этой фразе, которая кажется простым, незначительным вопросом! Иоанн умрет, потому что был Предтечей, Пророком и Крестителем Христа, и перед грядущей смертью вдруг у него встает сомнение: а вдруг я ошибался, вдруг Тот, Кого я возвещал, еще должен прийти, вдруг Тот, Кому я принес свое свидетельство во имя Самого Бога, — не Он? Напрасны тогда все годы подвижнической, нечеловеческой жизни в пустыне, отказ от себя, вследствие которого Писание называет его *гласом вопиющего в пустыне* (Мф 3:3), даже не пророком, говорящим во имя Божие, но голосом Божиим, который звучит через человека, настолько отождествившегося с этим голосом, что уже неважно, Иоанн то или кто-то иной, — говорит лишь Бог. А теперь это стояние перед смертью: если Иисус из Назарета действительно Тот, все это стоило делать, но если Он не Тот, тогда Иоанн обманут Самим Богом. Как и Наталья, окутанная безмолвием ночи и одиночеством, Пророк не получил никакого ответа, вернее, получил ответ, достойный пророка: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели, — слепые видят, хромые ходят, нищие благовествуют, блажен, кто не соблазнится о Мне». В темнице, где его ждет смерть, он должен стать перед лицом всего своего прошлого и всего настоящего, грядущей своей смерти, одиноко, с полной, самовластной ответственностью человека, во всем величии этого слова. Наталья тоже не получила никакого ответа. Теперь-то я мог бы ей сказать, что Зоя была спасена, что ее детям теперь за пятьдесят лет, многое еще мог бы ей сказать. Но она этого никогда не узнала и была расстреляна среди ночи.

Но в акте предстательства есть еще нечто помимо жертвенности: кроме Голгофы и Гефсиманского сада есть Воскресение — в меру нашего участия в тайне Христовой, но и в меру нашего человеческого убожества. Вы наверно помните место у апостола Павла, где он говорит: *уже не я живу, но живет во мне Христос* (Гал 2:20). И моментами мы задумываемся: что значат эти слова, что в них содержится? Зоя и ее дети твердо знают одно: что они живут чужой жизнью, взятой взаймы, их собственная жизнь кончилась с Натальей, ее жизнь продолжается в их земном бытии. Они живы — потому что она умерла, она взяла на себя их смерть, она отдала им свою жизнь. Они живут жизнью, которая целиком принадлежит ей.

Здесь мы можем понять, может быть, на человеческом уровне, в уменьшенном виде, что-то очень великое, когда речь идет действительно о человеческой трагедии и о тайне спасения. Мы можем понять также самое жестокое, четкое, требовательное значение предстательства. Мы часто предстествуем перед Богом, прося Его покрыть Своей милостью, любовью, Своей властью тех, кто в этом нуждается, но предстательство — нечто большее. *Intercedo* по-латински значит сделать шаг, который поставит нас в самую сердцевину ситуации, — подобно человеку, который видит, что двое других готовы вступить в драку, и становится между ними, солидаризируясь с обоими. Первый образ, какой приходит на ум, это слова страдальца в девятой главе Книги Иова: *Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас* (Иов 9:33), то есть: где тот, кто станет между мной и Судьей моим? Где тот, кто в этом споре между Богом Живым и Его жалким созданием осмелится сделать шаг и встать посредником, разделить их и вновь соединить? Разделить их противостояние, которое делает их пленниками друг друга, соединить в свободе, восстанавливающей гармонию? Этого Посредника мы находим во Христе. Человек, Который был Богом, Слово воплощенное делает этот шаг, становится между падшим, осужденным человеком — и Богом: равный Богу и равный человеку, до конца солидарный с Богом, потому что Он Сам Бог, до конца солидарный с человеком, потому что Он — человек и готов в Своей человеческой плоти понести все последствия Божественной любви. Вот акт предстательства, вот что означает этот шаг, который ставит нас в сердцевину ситуации навсегда, навечно, потому что Христос, родившийся от Девы, умер на Кресте, воскрес и в Вознесении унес эту плоть человеческую в сердцевину Троичной Тайны.

На примере Натальи мы видим, что Христос истинно есть Путь — путь жизни, само бытие христианина. Мы видим также, что нет иной правды человеческой и Божественной и что только это и ведет к жизни, — жизни преизбыточествующей (Ин 10:10), настолько полной, что она не только наполняет вечностью того, кто несет ее, но переливается через край и изливается на тех, кто вокруг, бесконечно, из века в век даруя им ценой распятия спасение и жизнь вечную. Это победа мученика, победа слабого над сильным, победа того, что до конца уязвимо, то есть любви Божественной или человеческой, над тем, что кажется сильным — над ненавистью, которая оказывается разбита и непрочна.

Помимо такой полной и трагической отданности, какую проявила Наталья, мы бываем связаны с миром почти неприметным образом, но имеющим очень большое значение, — просто своим присутствием. *Вы в мире, но не от мира* (Ин 17:14—16), — сказал Христос. Мне кажется, что самый яркий тому пример — место Пресвятой Богородицы в рассказе о браке в Кане Галилейской (Ин 2:1—11). Бедная свадьба. Люди с чистым и цельным сердцем пригласили Христа, и Господь не отказался разделить их праздник. Его Мать и ученики здесь же. В какой-то момент, когда сердца еще жаждут радости, препятствием встает человеческая бедность: нет больше вина. И тут идет обмен фразами, которые кажутся никак не связанными между собой. *У них нет вина*, — говорит Пресвятая Богородица. *Что Мне и Тебе, Жено?* — отвечает Христос, — *час Мой еще не настал*. И

вместо того чтобы сказать Господу, что Она Его Мать, что любви, состраданию всегда час, Она ничего Ему не отвечает. Она просто обращается к слугам и говорит им: *Что бы Он вам ни сказал, то сделайте*. И Христос, вопреки тому, что Сам только что сказал, благословляет воду омовения, и она становится вином Царствия. Как понять этот разговор и мнимое противоречие между словами и действием Христа? Не значил ли вопрос Христа к Матери: почему Ты обращаешься ко Мне? Потому ли, что Ты — Моя Мать по естеству, что Ты родила Меня, потому ли, что Ты ближе всех Мне? Если так, Я ничего не могу сделать, час Мой еще не пришел, потому что Царство еще не настало. И Богородица, не отвечая Ему, устанавливает Царство тем, что проявляет полную веру в Него, и слова, которые Она слагала в сердце с самого начала, с Благовещения, приносят плод на богатой и святой почве, и Она видит в Сыне то, что Он на самом деле есть: Слово Божие. Условия Царствия устанавливаются, Бог встречает Создание, до конца Ему предавшееся, открывшееся, до конца верящее в Него. Он может действовать свободно, не насилуя природу, царственно, потому что Он в Своей области. И Он творит первое евангельское чудо.

Это место Богородицы может стать местом каждого из нас. Мы все можем сделать реальным присутствие Царствия Божия там, где находимся, где бы то ни было, какое бы неверие, какие бы неверность или сомнения нас ни окружали, просто веря до конца Господу, будучи детьми Царствия. В этом — акт предстательства, который имеет первостепенное значение. Своим присутствием в какой-то ситуации мы коренным образом переворачиваем ее, потому что с нами в нее входит Бог, Он присутствует в ней нашей верой: будь то в нашей семье, среди друзей, в момент вспыхнувшей ссоры, где проявляется несогласие, где непонимание начинает разъединять тех, кто были едины, будь то на работе или просто в дороге, в метро, на улице, в поезде... Там, где мы среди людей, устремленных к своему вечному назначению, мы всегда можем сосредоточиться, внутренне уединиться и сказать: «Господи, я верю Тебе; приди и будь среди нас!» И в этом акте доверия, в созерцательной молитве, которая не просит видения, которая довольствуется обещанием Божиим быть там, где Его призовут на помощь, мы можем осуществить свое предстательство. Порой нам недостает слов, порой мы не умеем поступить с мудростью, но мы всегда можем просить Бога прийти и быть с нами. И тогда мы часто увидим, как меняется атмосфера, ссора прекращается, снова водворяется мир. Это немаловажная форма предстательства, хотя она менее ярка, чем то, что мы считаем большой жертвенностью. И мы еще раз видим, насколько неразрывно связаны действие и созерцание, видим, что невозможно действовать по-христиански вне созерцательного момента. Мы видим также, что созерцание не есть только боговидение, оно есть прозрение в глубину, которое позволяет нам видеть суть вещей, различать их вечное значение, созерцание есть видение не только мира, но и мира в Боге.

В центре этой всечеловеческой общности, этого видимого мира, который гораздо шире человеческого общества, присутствует община, которая одна только способна охватить и трансцендентное, и непосредственное призвание того, что ее окружает: это Церковь, общество избранных, и избрание это означает для членов общины не привилегии и права, а служение. Христос обещал, что пошлет нас, *как овцу среди волков* (Мф 10:16), в вечер Своего Воскресения Он заповедал нам выйти в мир, как Его послал Отец (Ин 20:21). Он нас предупредил, что мы на земле — как бы небесное поселение, авангард Царствия Божия, мы соратники Господни в деле освобождения мира от сил зла и смерти. Церковь можно определить только извне, изнутри она — сама тайна внутренней жизни и углубления в Боге, она — тайна встречи, присутствия и приобщенности. Она далеко превосходит человеческое общество, обращенное к Богу, послушное Ему, собранное вокруг Него, она — живое тело, одновременно Божественное и человеческое. У нее есть эмпирический аспект — мы, есть и вечный аспект — Бог, Бог в нас и мы в Нем. С одной

стороны, по определению святого Ефрема Сирина, Церковь — не собрание праведных, а толпа кающихся грешников; она в тоске взывает к Богу, она сама нуждается в спасении. С другой стороны, она не только *in via*, в пути, — она уже достигла и цели: Бог здесь, она нашла покой в Нем. Ее богочеловеческая природа сложна, такова же и ее человеческая сторона. Она открывается как в грешнике, который нуждается в спасении, так и в воплощенном Слове, истинном Боге и истинном человеке. Только Он являет подлинную меру человечества как места присутствия Святого Духа, Того Духа, Который создает из нас тело Христово, всецелого Христа (по смелому слову одного из отцов Церкви, мы когда-то станем Им, *единородным сыном в Единородном Сыне*), Духа Божия, научающего нас обращаться к Отцу Слова как к своему Отцу.

Церковь — таинственный организм, где действием Духа мы становимся тем, что есть Христос. Он пожелал стать тем, что есть мы, и *наша жизнь сокрыта со Христом в Боге* (Кол 3:3). Существенное отличие Церкви от мира — ее эсхатологическое измерение. Она принадлежит уже будущему веку, и поэтому Дух Божий пронизывает всю жизнь Церкви. Поэтому к Нему мы обращаем нашу молитву при совершении Евхаристии. Царство Божие, Царство будущего века уже здесь, и в нем все уже завершено. Бог уже *все во всем* (1 Кор 15:28), Хлеб и Вино уже содержат Божество. Церковь знает все — и предметы, людей — не только в их всегда трагичном временном становлении, но и в их последнем завершении и полноте, и поэтому она может возносить благодарение за все изнутри этого трагического и часто жестокого мира. Благодарить за все можно, только если мы умеем видеть все в завершенности, иначе наше благодарение — признак бесчувственности, которой нам не может простить ни мир, ни Бог. Мы должны уметь изнутри своего опыта повернуться к Богу и сказать вместе с праведниками: *Ты был прав, Господи, во всех путях Твоих* (Откр 15:3). Церковь способна на это, потому что у нее есть такое видение. Это не только видение мира, потемненного грехом, но видение, в котором уже восходит заря Преображения, в котором уже действует Воскресение; это видение пронизано вечной жизнью, которая, изливаясь в этот мир, шаг за шагом, час за часом покоряет его вечности.

Поэтому-то Церковь не знает того различия между живыми и усопшими, которое вне ее полно тревоги и смущения. *Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы* (Лк 20:38), — все живы и для Церкви. Только изнутри этого эсхатологического опыта можем мы ожидать смерть, словно огромную надежду, и призывать час Суда, приход Христов в радости, взывать вместе с Духом и Церковью: *Гряди, Господи Иисусе, и гряди скоро!* (Откр 22:17, 20). История и вечность нераздельно соединены в этих эсхатологических и евхаристических категориях, и молитва Церкви обнимает и охватывает не только ее членов, но через них или ради них, благодаря им — весь мир, рассматриваемый как потенциальная Церковь, всецелая Церковь, которой мы чаем. И в Церкви, в этом становлении в рамках эсхатологии, где, как указывает греческое слово *ἔσχατος*, все уже завершено, но одновременно — в становлении, у нас есть, через общение святых и грешников, живая связь со всеми живущими и со всеми усопшими.

Что же означает наша молитва за усопших? Разве мы просим Господа проявить несправедливость? Конечно, нет. Этой молитвой мы свидетельствуем, что они прожили не напрасно. Мы доказываем, что среди тысячи незначительных мелочей, которые заполняли их жизнь, они сумели бросить семя любви. Мы молимся о них потому, что в нашем сердце есть любовь и благодарность, живое воспоминание их присутствия среди нас, и это свидетельство мы приносим молитвой за них, и эта молитва, как любая другая, должна быть подтверждена нашей жизнью. Если в своей жизни мы не принесем плод того, чему нас научили усопшие, то наша молитва за них будет хотя и не напрасна, но слаба, она не взлетит ввысь. Мы должны быть в состоянии сказать: «Господи, посмотри — этот человек прожил, он посеял в моем сердце любовь, он посеял в моей жизни примеры, которым я

следую». Придет день, когда все будет завершено, мы сможем встать и сказать: «Господи, добро, которое ты видишь в моей жизни, не мое, оно — его, прими его, пусть оно будет его славой или, может быть, его прощением».

Жизнь каждого из нас не прекращается в день смерти на земле, рождения на небе. Каждый из нас накладывает печать на всякого встреченного человека. И здесь — ответственность, непрерывно переходящая через века. Эта посмертная жизнь глубоко и неразрывно связана с жизнью живущих на земле, и ответственность выражается в наших молитвах за умерших. Через них мы уже не полностью принадлежим земле: в нас, во всех тех, на ком усопшие оставили отпечаток своей личности, дорогие нам усопшие люди принадлежат истории и становлению мира. Эти молитвы существенно важны, так как являются одним из выражений жизни, которая охватывает и объединяет всех людей, все человеческое сообщество.

Однако мы молимся особенно не только за некоторых людей, но и некоторым людям — Богородице и святым. Это не означает, будто мы противопоставляем их благодать строгой правде Божией. Мы молимся им потому, что знаем, что их воля едина с волей Божией и что наше обращение к ним создает не противопоставление, а гармонию, которая объединяет в любви всех — и живых, и умерших. Если наш Бог действительно не есть Бог мертвых, а Бог живых, разве не естественно нам обращать молитвы к тем из них, кто для нас особенно близок, является ярким примером? Каждый из нас может найти среди церковных святых тех, кто нам наиболее понятен, чей образ особенно много говорит нам. Мы не делаем радикального различия между теми, чья святость признана и провозглашена, и неканонизованными людьми. Некоторые святые были выделены Богом и явлены как примеры для христиан; это не означает, что другие не таковы. Мы свободно можем обращаться с молитвами к усопшим родителям или друзьям, в этом нет кощунства.

Молитвы, которые мы обращаем к Пресвятой Богородице, носят особую печать. Среди земнородных Она ближе всех ко Христу, и не потому, что Она дала Ему тело Воплощения, но потому, что Она действительно Его Мать, Она связана с Ним не только физически, но и метафизически, духовно. В наших молитвах к Ней всегда есть глубоко трогательный момент. Наши грехи были причиной смерти Христа на Кресте — и Ее, Мать нашего Господа, мы призываем на помощь. Всякая молитва, обращенная к Ней, может быть переведена в такие слова: Мать, я убил Твоего Сына, но если Ты простишь — никто меня не осудит. Вот что подразумевает наша вера, наша любовь к Той, Которая отдала Своего Сына на распятие без единого слова, без жеста, полной отдачей, в полной приобщенности намерению и воле Божией.

Еще несколько слов о литургической молитве. Эта молитва, постоянно совершаемая в Церкви, в сердцевине видимого мира, не только мира людей, но мира предметов, некоторым представляется лишенной непосредственности. Она кажется слишком четко определенной, заключенной в жесткие формы. Она действительно такова, потому что ее цель — не только выразить общее, общинное человеческое чувство, но и воспитать. Она также должна быть откровением красоты — не только красоты уже существующей, но выражением того, чем мир мог бы стать, чем он призван быть в Боге: всеобщей гармонией, равновесием всего в Боге. Можно было бы без труда показать на множестве мелких деталей, как православное богослужение раскрывает все библейское откровение — в молитве, в жестах, в иконе, в движении. Это очень важный элемент богослужения. Оно — школа духовной жизни, оно — некая точка, встреча с Богом и с миром в Боге. В нем есть подлинная непосредственность, которая, однако, превосходит эмпирическое чувство каждого из его участников. Это священное чувство, которого уже достигла община. Сама община больше нас и в Боге превосходит самое себя, это

священная встреча, в сердцевине которой главное: таинственное предстояние лицом к лицу с Богом, где Бог встречает человека не только через слово и незримую благодать, но и через преображенное вещество. Воды крещения, приносимые Богу актом веры и верности, становятся не только первоначальными водами, но и той водой, которую Христос обещал самарянке (Ин 4:10, 13—14). Хлеб и вино, уже ставшие Телом и Кровью Христовыми, предвосхищают день, когда *Бог будет все во всем* (1 Кор 15:28). Но за пределом этой личной встречи Бога и людей в Церкви, за пределом встречи человека с миром, открываемым в Боге, есть суровое, трагическое противостояние христианина и мира, куда христианин входит, чтобы послужить миру по образу Сына Божия, ставшего человеком в акте подлинного и полного, окончательного и безвозвратного воплощения. Сын Божий воплотился, так сказать, до конца, Он сделался неотъемлемой частью человеческого становления, и в этом процессе молитва становится предстательством и предстательство делается совершенной Голгофской жертвой.

Между экстазом, невыразимостью встречи и нашим присутствием в мире есть напряжение, несоответствие: оно отражает неспособность человека жить полнотой Божественной жизни и не терять притом связи с собственной, личной, узкой жизнью. По слову Симеона Нового Богослова, это удел новоначальных; совершенство, идеал — в постоянном, неизменном единстве, охватывающем всего человека, дух, душу и тело, без преткновения или колебаний, по образу Господа Иисуса Христа и некоторых святых. Совлекшаяся внешнего мира, свободная от борьбы, от сомнений и забот, душа приобретает доселе ей неведомые трезвость, внимание, силу и ясность. Чувство живо, горячо, чисто, свободное от всякой эмоции или страсти, оно является (в своих внешних выражениях) силой и светом. Вовсе не затемняя мысль, как свойственно эмоциям, чувство ведет ее к расцвету, помогает раскрыться. Мысль все время остается глубоко сознательной и свободной, душа в этом делании никогда не бывает пассивна: освободившись от самозамкнутости, она предается Богу и то хранит полное самообладание и может по желанию безмолвствовать либо творить молитву, то слова, которые она употребляет, сами рождаются в сердце и уме молящегося, так что он не может их менять, выбирать или направлять, то она становится неизреченным молчанием в человеке, преодолевшем узы чувственного мира, и он в полном безмолвии всех душевных сил созерцает нетварный Божественный свет, тайны мироздания, собственной души и тела.

Всякая истинная молитва, то есть совершаемая в полном смирении, в отказе от обращенности на себя, во всецелом предании себя Богу, рано или поздно получает живоносную благодать Духа Святого. Она становится закваской каждого действия и служит его мерилom, она является *всем* в жизни, перестает быть *деланием* и превращается в само *бытие*, становится изливанием Того, Кто исполняет все и все ведет к полноте³¹⁹.

О Молитве Господней³²⁰

О Молитве Господней, казалось бы, говорить нечего. Мы все ее употребляем, с детства знаем, она постоянно нам попадает в службах, и мы к ней естественно обращаемся, отчасти из-за ее изумительной стройности и красоты, отчасти — зная, что это молитва, которая нам дана Самим Спасителем Христом, и поэтому она святыня для нас, это Его собственная молитва, которой Он с нами поделился (Мф 6:9—13; Лк 11:2—4). Я думаю, что мы должны помнить, когда молимся этой молитвой: это молитва Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим, которая выражает все Его сыновство (и многое другое, что к этому ведет, — к чему я вернусь).

Для меня Молитва Господня годами была самой трудной молитвой. Разумеется, каждое отдельное предложение доступно и понятно каждому в пределах его духовного роста или углубленности, или опыта, но в целом она меня не то что не удовлетворяла — я не мог найти к ней ключа. И в какой-то момент я обнаружил в ней нечто, чем хочу с вами поделиться: она — не только молитва, она — целый путь духовной жизни (к этому я тоже вернусь).

Мне Молитва Господня представляется как бы разделенной на две части. Первая — призывание: *Отче наш* и три прошения.

Эти три прошения ясно представляют собой молитву сыновства, но не нашего относительного сыновства — мы ведь блудные дети нашего Небесного Отца, мы — колеблющиеся, ищущие, а это — слова, которые мог сказать только совершенный Человек, который есть и совершенный Бог. Это молитва сыновства в полном смысле этого слова. А затем идут прошения, которые, как мне кажется, к этом сыновству ведут или которые могут служить путеводной звездой к тому, чтобы вырасти в это сыновство. И вот я попробую вам сказать нечто об этих двух частях.

Первое, что меня поражает, что меня удивляет в себе, удивляет и в других: когда мы говорим: *Отче наш*, мы всегда думаем, что это молитва, которая нас всех, верующих, православных или прихожан одного храма, или членов одной семьи, выражает вместе, и я до сих пор не встречал никого, кто бы ощутил, что, когда Христос нам сказал: *Отче наш*, Он говорил о том, что это Отец Его — и наш, этим как бы предваряя момент, когда позже, в течение евангельской истории, Он Своих учеников назвал братьями Своими. Это замечательная вещь, это потрясающая вещь, потому что, если бы речь шла о том, что мы признаем отцовство Божие для нас, это было бы уже так много, но когда мы думаем, что это отцовство включает Единородного Сына Божия, что отцовство в этом призывании ставит нас и Его в одно и то же положение по отношению к Богу Отцу, это нечто, как мне кажется, такое потрясающее, такое глубокое...

Отцовство имеет особенные свойства. Отец — это тот, кто является источником нашей жизни. Отец — это тот, кто эту жизнь в нас воспитывает, но воспитывает строгим требованием безграничной любви, кто ни на какие компромиссы не готов идти и требует от нас, чтобы мы были тем, к чему мы призваны, кто не удовлетворяется ничем в нас, что ниже нашего достоинства. К примеру, возьмите притчу о блудном сыне (Лк 15:11—32). Вы помните, как блудный сын, опомнившись, идет обратно к отчему дому. И по дороге он повторяет для себя — не то что заучивает наизусть, но в его душе плачет молитва: *Я согрешил против неба и пред тобою и уже недостойн называться сыном твоим*, прими меня как одного из твоих наемников... Это плач души, это не повторение того, что он скажет отцу, — он это чувствует все время и идет к отцу, несмотря на свою недостойную жизнь. Хоть он недостойн, но он знает, что отец остался отцом, что его любовь не поколебалась, даже когда сын ему сказал: я не могу дожидаться момента твоей смерти для того, чтобы начать жить. Давай сговоримся: умри для меня, дай мне ту долю богатства, которую я получил бы после твоей физической смерти, уговоримся, что тебя нет больше. Даже тогда отец не обмолвился ни одним упреком, а просто дал ему его долю имущества и отпустил с миром. И вот, вспоминая это, юноша идет домой именно к отцу — не к судье, не к чужому человеку, не в надежде, что его «может быть» примут. Это слово «отец» значит, что у него надежда еще не умерла. Но обратили ли вы внимание, что, когда он перед лицом отца хочет произнести свою исповедь, отец ему не дает сказать последние слова. Сын произносит: *Отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже недостойн называться сыном твоим...* — и тут его отец прерывает: сын или дочь могут быть недостойными детьми своего отца или матери, но никаким образом не могут перестроить

свои отношения на отношения достойных наемников или рабов. Отец не может его принять как наемника, как раба, он его может принять только как сына: кающегося — да, недостойного по своему поведению — да, но как сына и не иначе. И вот страшно для нас важно, что Бог никогда не примирится с тем, чтобы мы были ниже своего уровня. Это — отцовство Божие. И когда в этом контексте мы думаем о том, что Христос нам дает эту молитву и говорит: *Отче наш*, то перед нами вдруг вырастает образ того, что мы собой должны бы представлять. Если мы действительно братья и сестры Единородного Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим, то вот мера нашего человечества — не меньше. Мы должны быть иконами Христа и больше, чем иконами: мы должны так сродниться со Христом, чтобы все, что можно сказать о Христе в свое время, когда все будет завершено, могло бы быть сказано о нас. И это не легкомысленное замечание с моей стороны, потому что есть место в писаниях святого Иринея Лионского, где он говорит (это не точная цитата, но мысль его я передаю), что, когда придет конец времен, все человечество в единении с Единородным Сыном Божиим силой Святого Духа станет Единородным Сыном Божиим. Грань между Единородным Сыном Божиим и детьми Божиими по благодати сотрется, потому что наше единство со Христом будет всечеловечеством перед лицом Божиим, и в центре этого спасенного и достигшего своей полноты всечеловечества, когда *Бог будет все во всем* (1 Кор 15:28), — имя Иисуса Христа.

Таким образом, когда мы говорим: *Отче наш*, мы должны понимать, что берем на себя это непостижимое призвание и готовность на это непостижимое состояние, что мы не только братья и сестры Христовы по человечеству, но что ничто меньшее, чем полнота образа Христа, недостаточно, чтобы мы были полностью самими собой. Это требует многого. Это не просьба к Богу, чтобы Он сделал для нас то, чего мы не делаем ни для себя, ни для Него, — это призыв к тому, чтобы мы были героичны в искании той полноты, которой, конечно, мы не можем достигнуть своими силами, но которая является нашим призванием, и мы не имеем права о себе думать ниже этого, мы должны быть достаточно смиренны, чтобы принять это величие и склониться перед ним — да, но и выполнить его. А если поставить вопрос о том, каким образом это можно сделать, я на это отвечу словами, которые Господь сказал апостолу Павлу, когда тот просил силы для того, чтобы осуществить свое дело. Господь ему сказал: *Довольно тебе благодати Моей, сила Моя совершается в немощи* (2 Кор 12:9).

И конечно, немощь, о которой здесь говорится, не наша лень, не наша косность, не наше малодушие, но это та тварная хрупкость, которая делается прозрачной для воздействия Божества, которая делается гибкой в руке Божией, когда мы Богу отдаемся с верой, доверием, в послушании. Так что, как Спаситель сказал в Евангелии, *невозможное человеку возможно Богу* (Лк 18:27). И поэтому мы должны верить, что это возможно. Опять-таки, Павел говорит: *все мне возможно в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе* (Флп 4:13). Так что тут и призвание, которое сверх наших сил, и уверенность, что мы можем вырасти в меру этого призвания — вырасти не органически, а подвижнически, это требование, которое перед нами ставится.

И эти слова — простые, такие привычные: *Отче наш* — нас вдруг ставят перед лицом нашего братства со Христом и непостижимым величием нашего призвания, и уверенностью, что это призвание может быть исполнено силой Божественной благодати, если только мы отдадим себя Богу именно, как я сказал, гибкостью, прозрачностью, послушанием.

И тут я хотел бы сказать, что послушание не есть повиновение, порабощение, оно — состояние человека, который всеми силами своего существа — и ума, и сердца, и всего — прислушивается: к голосу своей совести, к слову евангельскому, к таинственному голосу

Святого Духа, Который *воздыханиями неизреченными* говорит в нем или минутами с ясностью учит его говорить небесному Отцу *Авва, Отче* (Рим 8:15, 26).

А дальше идут прошения. *Отче наш, Иже еси на небесех* — на этом и останавливаться не стоит в том смысле, что ясно: мы не говорим, что Бог живет где-то над тучей или в пространственном положении; небо — это то место, где Бог *есть*, так же как древний *шеол*, древний ад, каким он был до сошествия туда Самого Христа, был местом всеконечного, безнадежного разлучения от Бога. Значит, мы говорим опять-таки о том, откуда пришел Христос, куда Он вернулся вознесением и где мы потенциально находимся. Вы ведь наверно помните то место у апостола Павла, где он говорит, *что наша жизнь сокрыта со Христом в Боге* (Кол 3:3). Он — Всечеловек; каждый из нас, все мы вместе в Нем как бы уже находимся как возможность или, вернее, как постоянное вращение в эту тайну, поэтому мы можем смотреть на престол Божий и видеть на нем подлинно, истинно Человека. Об этом Иоанн Златоуст говорит: если вы хотите знать, что такое человек, не смотрите в сторону царских престолов или палат вельмож: поднимите глаза к престолу Божию и увидите одесную Бога и Отца — Человека в полном смысле. Но когда мы Его видим, мы видим то, чем мы призваны быть. И мы не имеем ни права, ни возможности на себя смотреть иначе: это наше призвание, это воля Божия о нас. Бог в нас настолько верит, что Он нам дает такое призвание.

Я помню одного «культурного» человека, который очень простому священнику объяснял, что он, конечно, не может верить, потому что чего только не изучал: и богословие, и философию, и историю изучал... Священник был простенький, бывший деревенский священник, попавший за границу. Он на него посмотрел и говорит: «А разве важно, что ты в Бога не веришь? Какой Ему вред от этого? А вот замечательно то, что Бог в тебя верит». Вот наше положение: Бог в нас верит, и, значит, мы можем быть спокойны; только отзовись на эту веру послушанием, то есть слушанием всем существом того, что Он имеет сказать, — и это исполнится.

И вот — *Да святится имя Твое. Святится* — с одной стороны, от слова *свят*, с другой — говорит о *сиянии*. Я сейчас не путаю оба слова, но когда мы говорим о святине, мы говорим о чем-то, что преисполнено света. *Аз есмь свет миру* (Ин 8:12), вы посланы как свет в этот мир (Мф 5:14). И так просто было бы понять значение этих слов, если бы мы просто к ним подходили. Именно: представьте себе, какая была бы реакция каждого из нас, если имя самого любимого нами человека употребляли бы в грязной шутке или каким-нибудь порочащим образом, какое было бы в нас возмущение и больше того — какая была бы нестерпимая боль: имя моей матери так употребляют, имя моей родины так употребляют, имя того, что для меня — святыня, так употребляют. В этом вся простота этого прошения. Если бы для нас Бог был не самым любимым (мы ведь не можем похвалиться тем, что любим Бога больше, чем родителей, родных, детей), но если бы мы любили Его хоть сколько-то, нам было бы невыносимо, что имя Божие произносится в контексте, недостойном Его. Это мы встречаем в истории. Два примера я вам могу дать.

В Сибири в старое время было племя (есть ли сейчас — не знаю), которое не имело слова для Бога, потому что они считали, что Его нельзя назвать, что это слишком святое Существо, чтобы Ему дать земное имя. И они были правы, потому что только воплотившийся Бог мог получить земное имя *Иисус*. И когда они в разговоре хотели обозначить Бога, они делали паузу и поднимали руку к небу, указывая, что они говорят «о Нем», но имени Ему они не давали.

Второе: есть замечательное место в писаниях Маймонида, еврейского писателя XII века, об имени Божию. Он говорит, что в древнееврейской традиции имя и существо совпали.

Нельзя произносить имя Божие даже в богослужении всенародно, потому что не каждый может понести эту тяжесть или преклониться должным образом перед этой святыней³²¹. Вот то чувство, которое продиктовано еврейским ощущением имени Божия и которое мы можем понять из этих примеров, вот что такое имя дорогого человека. Но узнав, что значит беречь, оберегать имя любимого человека, мы можем соответственно учиться — и всю жизнь учиться — относиться к имени Божию именно с таким чувством, что это святыня и что сказать «Бог», сказать «Иисус», сказать «Господь» это не просто кличку произнести: это молитвенное призывание, которое говорит о Нем, так же как имя любимого человека говорит о нем, — нельзя его трепать. Поэтому вот к чему мы призваны: в полном смысле слова только Господь Иисус Христос мог произнести имя Божие с совершенной чистотой сердца, ума, уст, воли, плоти, всего Своего существа. Мы можем произносить эти слова во Христе, бережно, с трепетом, не употребляя слишком легко такие слова, от которых бесы дрожат и перед которыми мы не благоговеем. Ведь страшно подумать, что перед именем Иисусовым склоняется всякое колено (Флп 2:10), кроме нас, верующих христиан. Иоанн Златоуст где-то говорит, что, когда мы произносим имя Спасителя Христа, бесы отходят от нас в ужасе, а мы произносим его без ужаса. Как это жутко и какую ответственность мы берем на себя, зная это имя, потому что мы ведь знаем имя *Отец* и знаем его через Единородного Сына, и знаем земное имя для Бога: *Иисус*, «спасение». Мы можем эти слова произносить, и таких слов достаточно для того, чтобы весь мир дрожал — кроме нас... *Да святится* учит нас: береги его, как святыню, это больше, чем икона, это больше, чем имя любимого человека. Мы не дадим икону на поругание, а о Боге говорим с такой легкостью.

И затем: *Да придет Царствие Твое*. Знаете, часто у нас при молитве такое чувство, что мы призываем Бога к тому, чтобы Он сделал что-то. Я как-то говорил проповедь в англиканском храме и сказал: вы молитесь Богу за все нужды мира, словно вы Богу напоминаете все то, что Он должен был сделать и не исполнил. И действительно: мы часто молимся, как нищий, который протягивает руку, тогда как Бог нам поручил Царство (Лк 22:29), Он нас поставил на земле для того, чтобы строить это Царство. Когда мы говорим: *Да придет Царствие Твое*, это не значит «Приди Ты, Господи, умри вновь на кресте» или «Приди победителем и сокруши врагов». Это слишком легко. «Тебе крест — нам слава». И не думайте, что это просто кощунственное замечание с моей стороны.

Возьмите рассказ о том, как на пути в Иерусалим перед Христом предстали Иаков и Иоанн (Мк 10:35—40). Спаситель только что говорил прямо — сжато, но трагично — о грядущем Своем страдании. И с чем идут Иаков и Иоанн к Нему? «Когда Ты воскреснешь, дай нам сесть по правую и левую руку от Тебя». То есть: Ты сделай Свое, пройди через Страстную седмицу, умри на кресте, победи смерть, воскресни — и тогда мы соберем плоды от твоего страдания.

Ведь мы это тоже говорим — не этими словами, но своим поведением, когда просим: сделай, Господи! Дай, Господи! А сами стоим с открытыми руками, ожидая подачки, а не дара. А Господь нас послал в мир строить Царство Божие.

Все человечество строит какой-то град, общество; каковы бы ни были политические системы, каждая группа или масса людей строит сколько-то гармоничное общество. Но когда *мы* говорим о граде человеческом, мы не можем примириться ни с чем меньшим, чем с таким градом, первым гражданином которого может быть *Человек Иисус Христос* (Рим 5:15), воплощенный Сын Божий. И поэтому мы должны строить со всеми людьми то, что по-человечески можно строить, но знать, что это — только костяк, что этот град человеческий слишком мал, в нем нет достаточной широты, достаточной глубины и достаточной святости, чтобы Иисус из Назарета, Сын Божий, был бы в нем первым

Гражданином. В посланиях апостола Павла говорится, что наша родина, град наш — на небесах (Флп 3:20), и один английский богослов перевел это: «Мы — авангард Царства Божия»³²². Да, наша родина там, где Господь: душой, молитвой, любовью, призванием мы там, но мы посланы в мир для того, чтобы строить именно град человеческий, который был бы градом Божиим. И это наша ответственность.

Поэтому, когда мы говорим: *Да придет Царствие Твое*, — мы не только просим Бога о том, чтобы оно пришло, мы просим, чтобы Его благодатью мы стали верными строителями этого Царства. А верные строители строят за свой счет, то есть той ценой, которой Христос строил. Помните, в том примере, который я раньше дал, Христос спрашивает Иакова и Иоанна: готовы ли вы пить Мою чашу? Готовы ли вы креститься Моим крещением? — что в переводе с греческого значит: готовы ли вы погрузиться, с головой уйти в тот ужас, в который Я теперь вступаю? Это наше призвание, и это не жуткое призвание, потому что крест, который в тот момент был страшным, ужасающим орудием смерти, убийства, стал знаком победы.

Когда Христос говорит нам: забудь про себя, возьми свой крест, следуй за мной (Мк 8:34), — Он нам больше не говорит: иди только на Голгофу. Он, воскресший и победивший, нам говорит: не бойся, возьми весь крест жизни твоей и следуй за Мной, потому что Я весь путь прошел, Я проторил его, Я все испытал; ты можешь за Мной идти без страха, потому что все Я уже знаю и тебя не поведу на поражение. А тем не менее путь наш крестный. Если мы хотим кому-нибудь принести дар жизни, мы можем его принести, только отдавая свою жизнь. И когда я говорю «отдавая жизнь», это не значит — умирая физически, но — каждый день, каждую минуту зная: я посланник Божий и должен свое «я», все, что у меня есть, истощить, отдать каждому голодному и нуждающемуся. Я говорю не о физических дарах только, а обо всем, что мы можем дать: знание правды Божией, любовь Божию, надежду — там, где нет надежды, радость — там, где нет радости, и так далее. Так что эта молитва нас больше обязывает, чем обнадеживает в том смысле, что, когда мы говорим: *Да придет Царствие Твое*, мы на себя берем обязательство; мы знаем, что Господь верен, что Он будет с нами, но Он от нас ожидает того, что в Свое время сделал Сам для нас.

Слова *Да будет воля Твоя*, думаю, надо понимать так же. Потому что мы часто лицемерим (может быть, не вы, но я — лицемерю) вот в чем: мы часто Бога просим о чем-то, чего хотим: «Да будет воля моя, Господи», — но мы себя страхуем и кончаем молитвой: *Да будет воля Твоя...* И таким образом, что бы ни случилось, молитва исполнена: если по-моему вышло, тем лучше, а если по-Божьи — я же Его просил об этом. Значит, я победил по всей линии. Нет, этого недостаточно, этого мало. Когда мы говорим: *Да будет воля Твоя*, это значит, что мы берем на себя труд познавать эту волю, жить этой волей, проводить ее в жизнь. А воля Божия — спасение мира, воля Божия — все, что содержится в понятии жертвенной, крестной, отдающей себя, уязвимой, незащитной любви — ради того, чтобы другой человек мог жить, ожить, вырасти в полную меру. Вот некоторые черты этих первых прошений, но в совершенстве их может произнести только Господь. Он нам говорит, что *Царство Божие внутри нас* (Лк 17:21). В Нем полнота Царства Божия. В нас мы его должны водворить, мы должны Христа посадить на престол внутри себя, чтобы Он был Царем и Господом всей нашей жизни: мыслей, чувств, желаний, движений, действий. Но Он может сказать полностью: *Да будет воля Твоя*, потому что исполняет не Свою волю, но волю пославшего Его Отца (Ин 6:38). Эти прошения — чисто сыновние, и мы можем в них участвовать, только поскольку мы тесно и глубоко связаны с Господом Иисусом Христом. Мы связаны с Ним крещением, мы связаны с Ним даром Святого Духа в миропомазании, мы связаны с Ним причащением Святых Тайн Тела и Крови Христовых. И если употреблять другой образ, который употребляет апостол Павел:

мы привиты к живой маслине (Рим 11:17), мы как умирающая ветка, которую садовник вдруг обнаружил и хочет привить, с тем чтобы она снова жила.

Подумайте о том, что происходит. Вот живет какой-то росток, пустил слабые корни в бедную почву. Этот росток неминуемо умрет, хотя временно тянет из земли немножко жизни. И вдруг приходит садовник и ножом отрезает его от корней, и этот росток уже не может питаться даже тем малым, что ему земля давала. Течет из него жизнь; он ближе к смерти, чем когда был в земле. Но этим не кончается. Садовник идет к животворной маслине, этим же ножом надрезает ее и рана к ране присоединяет умирающий росток к животворному стволу, и вся жизнь, все жизненные соки ствола начинают пробиваться в росток и наполнять его жизнью, которую он никак не мог получить от бедной почвы, где он был, которую он может получить только от Божественной жизни. Но помните: рана к ране. Христос-дерево тоже изранено, чтобы оно могло соединиться с ростком. И вот наша судьба. Каждый из нас путем крещения так привит ко Христу. Конечно, Христова жизнь пробивается постепенно, потому что росток-то не готов — каждый посмотри на себя, — но пробивается, пробивается, и рано или поздно этот росток начнет оживать жизнью животворного дерева, которое из него делает не нечто новое, а приводит в реальность, в расцвет все то, что могло в нем быть и что не осуществилось. В этом смысле мы уже соединены со Христом и уже дети Божии, а вместе с тем в нас только пробивается эта сила. Отец Георгий Флоровский мне говорил как-то, что в крещении в нас вкладывается семя жизни, но это семя должно быть защищено, его надо питать; когда начнет росток появляться, его надо поддерживать. Это не внезапное вторжение полноты вечной жизни, это постепенное возрастание, но в тот момент, когда эта вечная жизнь до нас дошла, мы уже как бы у цели. Воплощение Христово — уже конец мира в том смысле, что Бог и человек едины и цель достигнута в Нем, а раз в Нем, то уже зачаточно и в нас. Последнее свершение, когда Бог явится во славе и мы врасем в эту славу и тайну, уже начинается в момент, когда никто еще не знает эту тайну, кроме Спасителя Христа и Божией Матери. Вот первое положение.

Второй момент такой. В какой-то мере мы уже Христовы, в какой-то мере мы уже обладаем жизнью Христа и можем быть в том обществе, в том мире, в котором живем, как бы телесным, воплощенным присутствием Спасителя. В нас Он живет не полностью, не так, как апостол Павел говорил: *не я живу, но живет во мне Христос* (Гал 2:20). К сожалению, я еще живу, и во мне Христос живет, как младенец или как подросток, который постепенно вырастает, чтобы наконец я стал тем, что Он есть. Однако это так. И поэтому наше присутствие в этом мире — это уже присутствие Христа. Когда христианин приходит куда бы то ни было, даже когда он об этом не думает, в нем приходит Спаситель Христос, потому что он крещен во Христа, он причащен Телу и Крови Христовым, и дары Божии неотъемлемы (Рим 11:29). Это так страшно — и так дивно, потому что, когда смотришь на себя, думаешь: как же это так?! Есть рассказ святого Симеона Нового Богослова о том, как, причастившись Святых Тайн, он вернулся в свою келью и говорит: я сижу в этой убогой келье на досках, которые мне служат и скамьей, и постелью, созерцаю дряхлое свое тело — я старик, я скоро умру, — гляжу на эти старческие руки и с трепетом и ужасом вижу члены тела Христова. Я причастился Тайн Божиих, и во мне, пронизывая меня, как огонь пронизывает железо, — Христос. И эта малюсенькая хижина, где я живу, — шире небес, потому что небеса не могут вместить Господа, а эта хижина в моем лице содержит Христа воплотившегося.

И это случается с каждым из нас — всякий раз, когда мы идем причащаться, с какой-то особенной интенсивностью. Но, как я уже сказал, дары Божии неотъемлемы, в нас остается все то, что мы получаем в причащении, в разрешительной молитве, в благодати Божией, которая изливается на нас свободно, когда Господь захочет того. Мы этого не

замечаем, а другие порой замечают — и вот это потрясающе. Как может быть, что мы не видим того, что в нас происходит? — Потому что мы этого не ожидаем. Большею частью человек видит то, что он ожидает видеть, а мы не видим, потому что как-то забыли, что это так.

У меня есть племянница, которая собиралась выйти замуж за неверующего молодого человека. Он никогда не ходил в церковь, потому что считал, что не имеет права туда вступать, так как не верит ни во что: ни в Бога, ни в то, что там совершается, и он ее ждал снаружи. Как-то она причащалась. Он не знал об этом ничего, он просто знал, что она была в церкви. Они шли после службы, он — на расстоянии метра от нее. Она говорит ему: «Почему ты не возьмешь меня под руку?» Он ответил: «Не могу приблизиться. В тебе есть что-то такое величественное, что я не могу подойти ближе к тебе и, конечно, не могу тебя коснуться». Вот как человек чуткий, которому тогда было дано что-то ощутить, увидел то, что сама она не ощущала в такой же мере. Я сейчас не вдаюсь ни в какие объяснения, а просто вот вам факт.

Дальше идут другие прошения. На эту часть можно смотреть как бы в два направления, и я хочу начать по ходу молитвы.

Мы видели, чем мы должны быть, но как этого достичь? И Молитва Господня нам сразу говорит: *Хлеб наш насущный даждь нам днесь*. Какой хлеб? Бог знает, что после падения человек должен кормиться плодом своего труда. До падения он мог жить, как Спаситель говорит сатане в пустыне, творческим, промыслительным словом Божиим, но падши и потерявши полноту общения с Богом, он должен получать какую-то долю своего существования от той земли, из которой взят. Так что это прошение относится к самому хлебу, но не только. Спаситель говорит: *Я — хлеб сшедший с небес* (Ин 6:32—35, 41). Это относится к Слову Божию, к Его Личности, из этой Личности как бы два потока идут: Его учение и таинства — причащение Тела и Крови. Вот перед чем мы находимся. Господь нас не забудет, даст хлеб материальный, вещественный, но чего мы должны искать — это встречи с Ним как Словом Божиим. Это то слово, которое Он произносит в Евангелии, которое нам указывает путь, и это те Тайны, которые приобщают нас Ему в связи со словом сказанным.

А дальше прошение: *Оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим*. Да, мы приобщились Богу в слове, в таинстве и в общении с живым Христом. Теперь Христос нам ставит вопрос: *Я в момент Моего распятия сказал — Прости им, Отче, они не знают, что творят...* Ты — на грани, ты можешь войти дальше в жизнь, только если, подобно Мне, готов сказать: прощаю тем, против кого я что-нибудь имею. Если ты этого не скажешь, ты не можешь идти дальше в ту пустыню, где будут искушения, где будет встреча с сатаной, — ты будешь побежден; в тебе достаточно зла, чтобы тебя сокрушил сатана и взяло в плен искушение. Остановись, это грань такая же, как в заповедях блаженства: *Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут* (Мф 5:7), не помилуешь — нет пути. И это опять-таки не пожелание, это не значит: Господи, Ты — оставь, а я — повременю. Григорий Нисский говорит потрясающую вещь: тут Господь согласен на то, чтобы уподобиться нам, Он простит нас так же щедро, как мы прощаем, и Он призывает нас прощать так же великодушно, как Он прощает. И это грань, перед которой каждый из нас стоит.

Помню, когда я был юношей, у меня была вражда с товарищем (думаю, что я не единственный согрешил таким образом), и я своему духовнику сказал: «Что мне делать? Когда я дохожу до этого места, я останавливаюсь и думаю: Кириллу не могу простить!» Он мне сказал: «Что же, когда дойдешь до этого места, скажи: „Не прости меня, Господи,

потому что я Кириллу не прощу“». Я говорю: «Не могу!» — «А ты моги — или прости». Тогда я подумал схитрить: я дошел до этого места и попробовал перескочить через ров... Тоже не выходит, потому что как же я могу не сказать то, чего Бог от меня ожидает? Сказать то, что я хочу, — не могу, сказать то, что Он хочет, — не могу. Пошел обратно к отцу Афанасию, говорю: «Что мне делать?» Он ответил: «Знаешь, если не можешь, но хотел бы, хоть немножечко хотел бы простить, когда дойдешь до этого места, скажи: „Господи, я хотел бы простить, да не могу, а Ты попробуй меня простить как бы вперед“». Я попробовал — тоже не выходит, как-то «не то» Богу говорить: Ты мне все дай, а я Тебе крупички насыплю, как пташке... Я боролся с этим, боролся неделями, и, наконец, Бог должен был победить. Мне пришлось согласиться: да, я должен простить Кирилла. Пошел к Кириллу, говорю: «Ты — такой-сякой-этаким, но я тебя прощаю». Он говорит: «Нет, давай мириться!» И тогда пришлось мириться, то есть не с Кириллом «таким-сяким-этаким», а его принять таким, какой он есть.

Я хочу сказать нечто о примирении и о прощении. Мы всегда думаем, что «простить» значит «забыть». Ну, ушло в какую-то древность, случилось три недели тому назад, десять лет тому назад, больше не болит, не мучит меня — забуду. Это не прощение. Забыть — не значит простить. Прощение начинается в момент, когда я еще чувствую рану и могу сказать: хорошо, я этого человека принимаю, какой он есть, сколько бы он мне боли ни причинил, я его приму, как Христос меня принимает, и я буду нести его, если нужно, либо как пропавшую овцу (если он дается), либо как крест, на котором я должен умереть, чтобы он жил; потому что у креста я смогу сказать: прости ему, Господи, он не знал, что творит. Потому что жертва всегда получает божественную власть отпустить грехи, простить своего мучителя.

И это — цель. Я помню, одна моя прихожанка пришла, говорит: «Знаете, отец Антоний, не выношу Екатерину Сергеевну, сбудьте ее из прихода, я не могу ее больше терпеть!» Я говорю: «Знаете что, Ирина, вы должны терпеть Екатерину Сергеевну, я должен терпеть ее и вас, а Бог должен терпеть всех троих — кому хуже?» Значит, тут грань, нельзя входить в компромисс, никуда не уйдешь от этого, и только если ты на это решишься (конечно, в совершенстве мы не умеем прощать, но если хоть волей, намерением мы говорим: да, я хочу простить, у меня не хватает великодушия, чтобы все было так, как надо, чтобы я этого человека взял на плечи, как крест, как овцу, но я готов на это, я буду вращать в эту меру), только тогда мы можем вступить в то, что я назвал несколько минут тому назад пустыней: то место, где я буду стоять перед лицом искушения. «Искушение» по-славянски значит две вещи: во-первых, то, что мы называем искушением, то есть то, что побеждает нас своим соблазном, и, во-вторых, испытание. Помните, апостол говорит: Бог злом не испытывает (Иак 1:13). Если Он ставит нас перед лицом возможного падения, то потому, что увидел в нас достаточно веры, верности Ему, чтобы сразиться с этим искушением.

И вот мы вступаем в область, где на нас начнут находить испытания, искушения, так же как когда Христос в полноте Своей силы после крещения пошел в пустыню, появился дьявол и Его начал соблазнять (Мф 4:1—10). Соблазняет он самыми простыми вещами: Ты же сорок дней не ел. Если Ты Сын Божий, как Ты воображаешь или как Ты собираешься говорить, что Тебе стоит из камней сделать хлеб и насытиться? Если Ты Сын Божий... И так легко нам сказать: да, я ведь Бога называю Отцом, Христос меня признает за брата, я молился сыновней молитвой, я крещен, я причастился Святых Даров, я в меру моих сил простил всем — почему бы в этом духе Христовом не употребить Божественную силу на то, что мне нужно? Нет!

Потом сатана нам скажет: испытай свою силу. Ты говоришь, что ты соединен со Христом крещением, — вздор! Докажи, не верю. И мысль приходит: а что если мне на самом деле доказать (конечно, не сатане, а кому-нибудь вокруг)? Да, со мной случилось что-то замечательное. Ты только на меня посмотри, ведь я новая тварь! Не в таких глупых словах, но в таком же направлении (потому что мы находим более подходящие слова для того, чтобы свою гордыню или тщеславие проявить). Или сатана говорит: смотри, сколько в тебе силы, возможности, неужели ты будешь довольствоваться тем малым, к чему ты призван? Ведь я могу тебе дать власть, я из тебя могу сделать — правителя, директора, полковника, что угодно, у тебя будет власть над людьми. И тут тоже надо сказать: нет, мне это не нужно, я призван быть таким же смиренным, как Христос, мне ничего не нужно, я ничего доказывать не буду ни тебе, ни себе. Вот это на нас будет находить. Можно массу примеров дать тех искушений, которые к нам могут прийти, но это не нужно — принцип поставлен.

А затем — *Избавь нас от лукавого*. Это значит, что не только найдут на нас общие искушения, которые так легко рождаются во мне самом, но сам бес придет и будет стараться меня сломать. Помоги, Господи!

И заканчивается это потрясающим образом. В момент, когда мы говорим, что на нас сейчас может напасть бес, нас ломать, нас разрушать, мы кончаем песнью хвалы: *Яко Твое есть Царство, Твоя сила*, все у Тебя есть, и мне не страшно, потому что Ты есть. Это — то, как нас Бог посылает в мир, но, с другой стороны, мы можем подумать об этом в других категориях. Мне как-то представилось (и это для меня сыграло большую роль), что вторая часть Молитвы Господней точь-в-точь соответствует рассказу об исходе евреев из Египта, и я вам сейчас быстро скажу, как мне это представилось³²³.

Евреи пришли в Египет свободной волей, потому что было голодно, а там был хлеб (Быт 42—47). Мы все идем в рабство, потому что где-то есть хлеб, а нам голодно; мы поддаемся рабству только из-за этого и только таким образом. Приходим мы туда, и, конечно, нас приглашают к столу, но постепенно нас делают рабами: рабами нашего голода, рабами наших хозяев, рабами обстановки. И в какой-то момент мы просто не что иное, как рабы. И вместе с этим, если из глубины нашего рабства — как в псалме говорится: *Из глубины воззвах к Тебе, Господи* (Пс 129:1) — мы, однако, можем восклицать: *Твоя есть сила и слава во веки веков*, если даже из глубины нашего отчаяния и отчаянного положения мы все-таки можем вознести Богу торжественную хвалу, потому что, что бы со мной ни было, я могу ликовать о славе Божией, — настанет момент, когда Моисей придет к нам и скажет: выходи на свободу, идем.

Тут первое сражение с сатаной. «Сатана» по-еврейски значит противник, тот, который наперекор воле Божией требует от нас или соблазняет нас, зовет нас к тому, что несовместимо с Богом и с вечной жизнью. И вот тут, на грани голодного рабства и свободы, которая будет еще голоднее, чем рабство, сатана говорит: ты пойми, пойми, что тут будет... А мы должны силой Божией сказать: отойди от меня, сатана! Да воскреснет Бог и расточатся враги Его... И выйти, уйти из обеспеченности, хотя и рабской, уйти от места, где кормят, хотя и за цену нашей свободы и нашей личности, и идти в пустыню.

В этой пустыне опять-таки поднимаются соблазны. Вы помните, как евреи вышли в пустыню и вспоминали котлы и мясо, которое им давали в Египте: не лучше ли нам было быть рабами там, где была еда, чем свободными здесь, где мы зависим только от чудес? (Исх 16:3). Что такое, опять-таки по-еврейски, «манна»? Это хлеб с небес. А пустыня может быть очень долгой, и на дороге в пустыне вдруг мы встречаем Синай и Закон. И потом где-то рубеж, Красное море, которое соответствует в моем восприятии моменту,

когда мы говорим: «Прости, как я прощаю», — только тогда можно уйти в пустыню, где больше ничего нет, кроме тебя в совершенно беспомощном состоянии, но всецело во власти Божией. И дальше наш выход в сыновство, выход в Обетованную землю.

Если вы перечтете в Ветхом Завете книгу Исход, если вы сравните то, что я говорил сейчас о Молитве Господней, с этой книгой, вы увидите, до чего здесь разные стадии похожи друг на друга. И тогда можно себе представить, что Молитва Господня является в этой ее части сокращением всеспасительного, промыслительного дела Божия, начиная с рабства и кончая освобождением Моисеевым и водворением в Святой земле. И если у вас живое воображение и интерес к этим вещам, вы можете посмотреть тоже, как заповеди блаженства точно раскладываются по разным частям этого исхода, этого постепенного шествия из рабства в Обетованную землю. И опять-таки, если вы посмотрите на чин крещения, вы увидите, что и он построен по тому же принципу. (Когда я говорю о принципах, я, конечно, не хочу сказать, что каждую деталь можно найти в каждом из этих моментов, но это все те же самые моменты.) Оглашенный приходит, и что случается? Первое действие священника: он возлагает свою руку на главу пришедшего к нему во имя Божие и берет этого человека под защиту Господа, и только тогда спрашивает его: «Отрицаешься ли ты сатаны?» Потому что, только если мы — под защитой Божией, можем мы отвергнуть рабство того, кто над нами до сих пор имел власть. И только отвергшись сатаны, можем мы ответить на вопрос: «Соединяешься ли со Христом?» И только тогда можно идти дальше и дальше, погрузиться со Христом в смерть Христову, и в жизнь вечную воскресения, и в сыновство. Чтобы развить это толком, конечно, требуется гораздо больше времени; я думаю, что вам самим будет совсем легко это проследить. Но мне хотелось бы, чтобы вы подумали; может быть, я не прав, но мне кажется замечательным в Молитве Господней то, что нам показан совершенный образ в начале, потом весь путь, как туда дойти, и когда мы дошли хоть сколько-то до общения со Христом и слышали Христа говорящего нам: иди в мир, будь Моим глашатаем, будь Моим посланником, — опять ступень за ступенью Он нам показывает, как идти, с каким богатством вступать, на каких условиях начать эту борьбу и с чем, в конечном итоге, нам надо сразиться — с сатаной лицом к лицу.

Ответы на вопросы

В ситуации современного мира — что мы должны принять, что должны отвергнуть и победить?

На этот вопрос трудно ответить. Мне кажется, что мы призваны быть в мире, но не от мира сего. Но мы не призваны бежать от мира в том смысле, чтобы стать чужими среди людей, которые вокруг нас и в нас нуждаются, потому что если нас нет, то некому быть присутствием Христовым.

Это мне стало ясно постепенно, потому что, когда я был молодым, я мечтал о пустыне, но оказалось, во-первых, что пустынь мало, во-вторых, что у меня денег недостаточно, чтобы попасть в какую-нибудь из них; и кроме того, я обнаружил, что среди людей иногда так пустынно бывает, что нет нужды уходить куда бы то ни было. Потом я понял, что везде можно жить, как в пустыне, то есть так, чтобы внутри было свое царство, а вокруг — место, где ты прилагаешь свою веру. И очень трудно сказать, что надо принимать, чего не надо принимать. Ведь мы живем в изуродованном мире, и требовать от этого изуродованного мира, чтобы он перестал быть таковым, не приходится.

Вопрос, мне кажется, для нас таков: как в этом изуродованном мире творить Божие дело? По образованию я врач, и мне представляется, что мир очень похож на больного. Взять

больного и ему сказать: я тебя вылечу, и ты будешь, как первозданный Адам, бессмертен и чужд всякой болезни, — это психопатия, бред. Так что берешь человека и думаешь: да, он останется смертным, он будет периодически болеть, но я ему дам возможность жить в пределах этой болезненности и смертности. И постоянно приходится делать выбор не между сплошным светом и сплошной тьмой, а между полусветом и полутьмой. Есть английское высказывание, что, смотря на ведро, до половины заполненное водой, пессимист говорит: оно полупустое, а оптимист: оно наполовину полное. И вот так все в жизни. Можно сказать: не светло, — а можно: как хорошо, что не совсем темно.

И я думаю, что христианин видит свет во тьме. *Свет и во тьме светит, и тьма не объяла его* (Ин 1:5) — в двух смыслах: и не приняла, потому что осталась в какой-то мере темной, но и не погасила. Есть китайская поговорка о том, что вся тьма вселенной не может погасить самую маленькую свечку. Это надо помнить. А если есть где-то свечка, то до предела вселенной тьма уже не полная, потому что свет идет, хотя мы не можем этого воспринять, свет идет в бесконечное пространство. И мы должны научиться глядеть на самые уродливые ситуации и на самых страшных людей и видеть, где есть искра света. Ни один человек без искры света не проживет. Она может быть там, где ее не ожидаешь вовсе. Эту искру, может быть, даже светом не сочтешь, но есть какая-то интенсивность жизни, которая дает человеку себя забыть ради чего-то большего, и это уже ценно.

Иногда приходится смотреть на человека, забывая, за что он стоит, что он представляет по отношению к нам или нашему окружению. В жизни мы расцениваем людей, события все время по отношению к себе. Этого мы во Христе не видим, этого мы не видим в мучениках, этого мы не видим даже в светских героях духа. Поэтому один мой товарищ, который потом был священником во Франции³²⁴, мне как-то сказал: «Когда Бог смотрит на человека, Он в нем не видит ни успехов, ни добродетелей, которых в нем нет, Он видит сияние Своего образа, которое ничто не может разрушить в нем». Святые умели посмотреть на грешника, то есть на нашем языке — на преступника, на негодяя, на врага, назовите как угодно, и все-таки увидеть в нем красоту. Скажем, к преподобному Серафиму Саровскому приходили не только благочестивые люди, приходили и самые неприглядные, и он каждого встречал словами: «Радость ты моя!» Потому что каждого он видел как икону — поврежденную, но как икону, как святыню. Так духовник должен относиться к духовным детям, так же мы, христиане, можем — должны! — относиться, каждый в свою меру, к любому человеку, кто к нам приходит, кого мы встречаем. Мы не в состоянии, не умудряемся это делать, потому что нам страшно. Встречая врага, ненавидящего нас человека, мы не умеем видеть, что он *человек* и что он в большей опасности, чем мы, потому что мы его не ненавидим, а он нас ненавидит. Он принадлежит к царству тьмы, мы — нет. В какой-то мере и у нас есть тени, и у него есть свет, но пропорция в нашу пользу.

И мне кажется, что в этом вопрос жизни в любой современности. У нас в Англии она одна, здесь — другая. Конечно, ситуации очень разные. Скажем, нападения на нашу веру, на нашу совесть, на нашу нравственность, на наши убеждения проходят иными путями, но не меньше и не больше. Ведь в конечном итоге хозяин всей этой разрушительной работы тот же самый противник Божий, и он употребляет те приемы, которые пригодны в данной ситуации: кому страх, кому приманка, кому одно, кому другое.

С другой стороны, если говорить не об обществе, а о самом человеке, помните слова апостола Павла — он имел право их сказать: все верующим содействует во спасение (Рим 8:28). Это не значит, что все ему обеспечивает хорошую, легкую или отрадную жизнь, но ничто не может его отдалить от любви Христовой (Рим 8:35—39). Но это трагическая судьба: мученики это доказали, это доказали преподобные, которые являются

как бы мучениками без мучителей, считая своим мучителем все зло, которое в них есть и нападает на них уже душевно, а не телесно.

Меня очень поражает, с чем некоторые люди, которые прошли действительно через тяжелые обстоятельства, вышли из них. Полтора года я как врач занимался людьми, которые возвращались из лагерей, и многие из тех, с кем я имел дело, сумели в момент, когда забыли о себе и пожалели ближнего, соседа, вырасти в большую меру. Я знаю, например, человека, который половину своего лагерного пайка отдавал более слабым, более голодным — а что оставалось? Многие, наверное, слышали про мать Марию Скобцову, которая вольной волей пошла на смерть, чтобы убедить других, что конец — не смерть, а жизнь. Я получил письмо от женщины, которая была с ней в лагере и была свидетельницей того, как вызвали группу женщин на смерть и одна из них в отчаянии плакала и рвалась на свободу. Мать Мария к ней подошла и сказала: «Не бойся, последнее слово — не смерть, а жизнь». Молодая женщина возразила: «Как я могу поверить в это?» И мать Мария ответила: «Очень просто — я с тобой пойду!» И она пошла, лишняя, и умерла.

Для этого надо в такой большой мере себя забыть. Но каждый из нас может немножко себя забыть в одном каком-то случае, хотя бы на несколько минут, по отношению к одному человеку, — и это уже много, потому что сделанное раз можно повторить, можно повторять снова. На совершенный поступок никто из нас не способен, но частичный поступок, поступок, в котором достаточно правды и истины, нам доступен, лишь бы не дать ненависти победить тебя — ненависти, которая рождается большей частью от страха за себя или от принципиальной установки, которую мы часто считаем добродетелью. Скажем, фашисты напали — я их должен ненавидеть. Нет, ты можешь ненавидеть фашизм, но тот солдатик, который напротив тебя стоит, так же тебя боится, как ты его. Его ненавидеть лично — невозможно. Я это говорю просто из пережитого опыта: можно идти против «врага», против воинской части и смотреть на человека, который перед тобой, с болью в душе: почему мы враги? Его взяли из деревни, его взяли с фабрики, его взяли из конторы, его взяли от жены и детей, от родителей, от друзей, он и не думал быть здесь, не хочет быть здесь — он хочет любви... И это не всегда легко, потому что чем страшнее, тем более мы отзываемся яростью. Я бы даже сказал, что порой ярость — единственное, что дает человеку возможность устоять. Но ярость должна вспыхнуть и исчезнуть. Она не смеет стать всегдашним состоянием нашей души, потому что иначе она нас разрушит вконец: *мы* будем разрушены — не другие.

Вопрос об искушениях в вере очень серьезный, поскольку сейчас очень много каких-то «полуверков». Как помогать прекрасным людям остаться на верной стезе? Иногда люди бодро идут в иную сторону, и не знаешь, что сделать.

Пока вы говорили, мне вспомнился рассказ о том, как Христос с учениками спустился с горы Преображения и застал толпу, эпилептического мальчика и его отца. И вопрос отцу Христос поставил так: если можешь хоть сколько-то верить, все возможно (Мк 9:23). Поэтому порой можно было бы иметь очень мало веры, но — крепкую крупицу. Знаете, чтобы это была крупица, а не потухающий уголек. Мы часто думаем, что вера заключается в том, чтобы с уверенностью говорить о целом ряде догматов или понятий, тогда как вера начинается в момент, когда мы прикасаемся хоть к самому краю ризы Христовой и знаем достоверно, что это случилось, это — есть и поэтому можем в какой-то мере довериться Ему. Вера начинается с момента, когда мы можем немножко доверять Богу. Следующий шаг: в ту меру, в какую мы уже доверяем, — хранить верность тому, что мы знаем. Слово «Бог» на германских языках (God, Gott) происходит от готского

корня, который означает (между прочим, как и в греческом языке) «тот, перед которым падаешь на колени в благоговении»³²⁵. Вот если есть крупица этого, уже можно жить.

И я думаю, что ошибка, которую делаем мы, верующие, по отношению к людям несколько колеблющимся, та, что мы ожидаем от них количества умственной веры, которой у них еще нет, вместо того чтобы их поддержать в той доле уверенности, которая у них уже есть, и в той доле верности, на которую они способны по отношению к собственному опыту. Не к вашему, и не к церковному, и ни к чьему другому, а — «вот это я знаю». Возьмите апостола Павла: он ничего не знал опытно, кроме Христа воскресшего. Конечно, сказать «ничего не знал кроме» — несколько преувеличенно, потому что *это* в себе содержит все, но я хочу сказать, что его личный опыт сводился к одному элементу и из этого все расцвело. Если мы берем жития святых: некоторые святые построили всю свою жизнь на одной какой-нибудь фразе, потому что она их поразила и они ей остались верны. Если бы мы не теребили так наших друзей, не требовали бы, чтобы они веровали так же восхитительно, как мы, то, может быть, лучше было бы.

Иногда человек может построить целую жизнь на мгновенном опыте чего-то, только бы мы его не старались направить на то, чтобы этот опыт умственно осмыслить, округлить, выразить словами. Причем словами, которые «Церковь» — в кавычках — выковала. Каждый из нас, в свою меру, знает катехизис или читал Игнатия Брянчанинова, или что-то другое и считает, что любой опыт непременно должен быть так выражен. Я думаю, что масса людей может жить на одной искре, которая подлинна.

А второе: уже для более — как вам сказать? — искушенных людей. Сомнение почему-то страшно пугает верующих. Почти всегда верующий, который вдруг в чем-то засомневался, думает, что не только земля под ним колеблется, но что сейчас Бог испарится, Его не станет. Тогда как на самом деле — ничего подобного. У человека было какое-то представление о Боге, и вдруг оказывается, что это представление не соответствует его теперешнему опыту. Это случается очень часто оттого, что мы останавливаемся на представлении о Боге, полученном от родителей, когда были детьми, лет до восьми. Потом мы развиваемся в школе, в университете, и двадцатилетний юноша или девушка, которыми мы стали, смотрит на восьмилетку с его детской верой и думает: этого не может быть, это неправда! А восьмилетка отвечает: нет, не трогай, не трогай, потому что, если ты тронешь мое представление о Боге, которое я в восемь лет создал, Бога больше не будет! Вместо этого надо сказать себе: да, мое восьмилетнее представление годилось для восьмилетнего, теперь я вырос, мне надо поставить вопрос по-иному... Есть место у Григория Богослова, где он говорит: если мы соберем из Священного Писания, из писаний отцов Церкви, из опыта церковного все, что мы можем знать о Боге, и попробуем из этого сделать полную картину, у нас не будет образа Божия — у нас будет идол, потому что в Боге есть непостижимость, а такая конкретная картина (статуя, или икона, или словесный образ — все равно) будет идол, потому что нет места для Бога свободно двигаться.

И в этом замечательное свойство православного вероучения, догматики: это не попытка написать икону, которая все содержит. Если нужно сравнение, я бы сравнил с ночным небом в ясную ночь: купол неба и звезды, соединяющиеся в созвездия. Что важно в этом? Важно, конечно, что есть звезды, эти блески, но так же важно пространство между ними, потому что, если согнуть все звезды воедино, была бы громадная масса огня, и не было бы неба, и никто не мог бы найти своего пути на земле. Именно потому, что эти созвездия оставляют между собой пространство, по ним на земле можно найти дорогу. В Боге есть непостижимость — и есть откровение. И мы можем спокойно ставить под вопрос ту картину, которую мы себе составили, потому что нечего бояться: все равно Бог остается

непостижимым, и мы можем с Ним общаться за пределами наших представлений, как мы можем общаться с человеком, не зная его. Бывает, встретишь человека, о нем ничего не знаешь, и вдруг души встретились, и пошел разговор. Так и с Богом. Я думаю, что мы могли бы с большим уважением относиться к сомнению людей и не стараться сразу их катехизировать; мы должны допускать, что крупницы веры может быть достаточно сейчас: только обереги ее, только не дай ей погибнуть, но не старайся ее раздуть. Знаете, когда разжигаете костер, иногда начинают гореть сухие сучки, но если начать дуть на них, чтобы все запылало сразу, вы потушите огонь. Дайте ему гореть тихо, только защитите от лишнего ветра.

Самые разные люди называют себя верующими, у каждого свой опыт. То есть это часто субъективное, что ли, состояние...

Мы не должны допускать людей называться верующими, когда они еще неверующие. Вернее, тут дело не в названии по отношению к внешнему миру. Надо помочь человеку разобраться, где он стоит на самом деле. Реальный человек может стоять перед Богом, но тот, кто себя кем-то воображает, нереален, его как бы нет, он не может стать перед Богом.

У людей часто бывает зачаточный опыт, который они даже не умеют узнать как опыт. Я сейчас думаю о Западе больше, чем о православии; на Западе очень часто ищут «мистического» опыта, читают каких-то больших мистиков и говорят: у меня этого нет... Конечно, нет! Так же как можно быть грамотным человеком и не быть ни Пушкиным, ни Шекспиром. Но на своем месте у вас есть то, что есть, что вы собой представляете. Часто люди считают, будто тот только вправе называться верующим, кто может сказать: я на опыте знаю грандиозные, громадные внутренние переживания. На самом деле это не так. Иногда, как Христос говорит, Царство Божие приходит неприметным образом (Лк 17:20—21): иногда человек уже в пределах Царства, но не сознает и не умеет дать этому имя. С этим тоже надо быть бережным, потому что у очень многих людей есть изумительное понимание именно духовного, не то что душевно-религиозного, но им в голову не приходит, что это подлинный, глубокий религиозный опыт, потому что для них он слишком обычный, или недостаточно потрясающий, или не совпадает с описаниями, которые они читали.

Скажем, как часто от «культурных» людей слышишь: «Ну *что* тот или другой знает о Боге!» А потом оказывается, что «тот» о Боге знает столько, сколько этому культурному человеку и не снилось. Этот сказать может больше, тот ничего сказать не может, а когда придет время ему умирать, видишь, какой это переход из вечности в вечность, а вовсе не из земного в небесное. У нас в Лондоне был целый ряд неграмотных старушек, крестьянки русские, которые попали в эмиграцию действительно Бог весть зачем, то есть по совершенной случайности, которые ни на каком языке даже подписаться не могли. В какой-то момент несколько более культурных университетских англичанок стали говорить: «Но ведь они же ничего не понимают!» Я всегда отвечал: «Больше вас!» А потом такая старушка умирала, и люди понимали, что это за человек. (Я даю пример смерти не потому, что он более убедителен, чем пример жизни, просто случилось так.)

Встает вопрос о возможности передать это другому, если мы говорим с неверующими или с людьми, не имеющими того же опыта. Мы говорим, что мы во Христе, что Дух Святой действует в нас, и нам могут поставить вопрос: что все это значит? И я не знаю, как это объяснить, кроме тех случаев, когда вопрошающий уловит в верующем что-то превосходящее самого верующего. Наша вера основана главным образом на свидетелях; апостол Иоанн пишет: мы говорим о том, что мы видели, что мы слышали, что осязали наши руки (1 Ин 1:1). По этому принципу был избран вместо Иуды новый апостол: такой

человек, который был с ними от начала и мог лично свидетельствовать о Христе (Деян 1:21—26).

И, в конечном итоге, когда вы исчерпали собственный опыт, свидетельство других и свою приобщенность к их опыту, есть что-то, что только от Бога можно получить. И другому человеку можно сказать: это — мой личный опыт. Как доказать ему, я не знаю — кроме того, что апостол Павел говорит: явлением силы Божией (1 Кор 2:4—5). Когда люди становятся верующими, в какой-то момент этого процесса и инициатива — от Бога, и последнее, решающее действие — Божие. Человек не может стать верующим просто потому, что ему захотелось: есть масса людей, которые тоскуют по тому, как бы стать верующими. Иногда эту первичную или последнюю встречу с Богом можно передать. Скажем, в случае апостола Павла ее можно описать: вот что с ним случилось. Можно описать в случае отдельных людей: не так давно под названием «Бог существует — я Его встретил» во Франции вышла книга одного безбожника, который стал верующим³²⁶. Почти всегда это сводится к тому, что «я Бога встретил», но что это значит? Встретить человека — ясно, но как довести до сознания человека, который не верит, что вы могли встретить Бога, Который не ходит по улицам: где же вы Его встретили, как это случилось?

В какой мере маловерие является грехом?

Маловерие — грех в той мере, в которой почти всегда оно связано с какой-то долей трусливости. Когда мы говорим, скажем, о православной вере, мы говорим о каком-то содержании веры. Есть вера, как ее апостол Павел определяет: как уверенность (Евр 11:1), но есть тоже аспект веры, может быть, еще более первичный, как доверие к Богу. Возьмите, например, Авраама, который — отец всех верующих (Рим 4:9—18): его вера — не по содержанию и не по признаку невидимости и уверенности, а по признаку совершенного доверия к Богу. Первый случай: когда его в ночи позвал Бог (Быт 12:1), по какому-то чутью Авраам не поставил даже вопроса — он знал, что с ним Бог говорил, и по доверию к Богу оставил все и пошел в неведомую страну. Дальше, в рассказе об обетовании ему сына и затем повелении этого мальчика заклать в жертву все его поведение также было актом совершенного, безумного доверия. Авраам не поставил даже вопроса о том, что обетование Божие сталкивается с теперешним повелением Божиим; он не сказал Богу: Господи, как же может исполниться то, что Ты обещал, если Ты теперь мне повелеваешь убить этого ребенка, о котором Сам сказал, что он будет родоначальником бесчисленного множества людей? Авраам безусловно поверил Богу как Лицу — а не как обетованию, как речи.

В этом отношении маловерие всегда несет печать нашего недоверия к Богу: я Тебе доверюсь вот столько, а беру страховку на другое, я верю, конечно, что Ты можешь превратить два хлеба в пищу для всех, а все-таки запасусь на всякий случай: а вдруг Ты решишь не творить чудес сегодня? В этом смысле маловерие несет в себе печать недоверия к Богу как к Личности, к Существо. Речь не о том, что ты не веришь достаточно в какое-нибудь обетование, обещание, а — в Того, Кто его давал, его выражал. И это так же греховно, как, скажем, если у тебя есть друг и ты ему веришь, пока верится, но боишься на всякий случай, друг вправе сказать: нет, это не дружба.

Когда люди не сознают всей безвыходности своего положения, нужно ли вмешиваться, или нужно просто ждать?

Я думаю, в зависимости от ситуации. С одной стороны, нужно время, человек должен созреть. Мы не можем мерить это созревание. Я помню письмо Феофана Затворника, где он говорит, что самое трудное в жизни — видеть, как человек бьется как рыба об лед, и

ничего нельзя сделать для него, потому что не пришло время. Ну, он здесь говорит как духовник, а не как товарищ, то есть у него, конечно, и зрения, и чуткости больше, чем у кого-либо из нас. Но в принципе это так: иногда, даже если человеку дать совет, он его не услышит. Если ему растолковать, он не может это принять, если ему дать в руки, он удержать не может, потому что не готов к тому.

А есть моменты, когда наше дело — обострить внутренний конфликт, то есть его превратить из туманности во что-то другое, потому что в тумане человек может блуждать до смерти, так же как в пустыне, окруженный маревом. Конечно, этим не надо играть, но иногда чувствуешь: теперь пора. Тогда поставь вопрос серьезно, обостри. Пусть человек поймет, что конфликт в нем самом, не откуда-то наваян, но в нем самом. Тогда ему можно уже сказать: разбери данные этого конфликта и посмотри: если ты хочешь оставаться в этом конфликте — можешь. Или ты можешь выйти из него, но не для удобства, а потому что это будет ответственное, творческое разрешение конфликта.

И это замечательно. Каждый из нас ответствен за другого, и мы должны эту заботливость проявлять. Не обязательно в каком-то проповедническом плане; можно помочь человеку и не влезая ему в душу, и не выражаясь специфически цитатами из Священного Писания. Можно ему помочь выправиться, найти путь, расчистить дорожку; и нам это поручено, потому что мы товарищи по земной жизни, мы спутники по земной жизни.

То есть мы виноваты будем, если не поможем?

Я думаю, что не следует брать на себя такую ответственность: мы не поможем, и человек, может быть, никогда не услышит слово на пользу. Я сейчас оставляю чисто практическую ситуацию, когда дать ответ невозможно по другим причинам, а говорю о внутренней стороне. Людям некогда ждать, чтобы вы стали святыми и тогда они что-нибудь услышат о Боге. Иногда от грешника тоже можно услышать что-то путное. Причем мы должны говорить то, что сами знаем. Когда мы не знаем чего-нибудь, надо искренне это признать, и это проблемы для людей не составляет. В моем опыте, например, когда бывают вопросы и ответы после лекций на Западе, иногда приходится говорить: я не знаю того или другого — и это люди больше ценят, чем если вы дадите какой-то корявый ответ, просто чтобы доказать, что на все можете ответить.

Но когда мы говорим о вере, мне кажется, надо помнить, что мы не одинаково знаем все, о чем можем свидетельствовать. Есть вещи, которые мы знаем из собственного, личного опыта, — о них мы можем говорить с полной силой и убедительностью, потому что говорим о том, что знаем достоверно. Есть другие вещи — они нам известны, потому что мы принадлежим обществу людей, которые об этом знают, скажем, приходу, или Православной Церкви, или какому-то человеческому обществу; любой из нас о Боге знает что-то, чего другой не знает, в складчину мы все знаем больше, чем каждый отдельно. Если нам поставят вопрос, мы можем сказать не только то, чего лично дознались, но и то, что узнали от других. Но тут надо говорить так, чтобы было ясно, где кончается наш личный опыт и где начинается наше коллективное, потому что человек на слух узнает, если мы говорим о чем-то, о чем у нас понятие только понаслышке. Мы должны говорить предельно честно. Скажем, апостолы, как пишет Иоанн Богослов, говорили о том, что видели их очи, слышали их уши, осязали их руки; это — прямое свидетельство. Но вместе с тем из поколения в поколение мы говорим больше, чем наши руки, наши уши, наш слух нам дали.

И, наконец, есть третья область, может быть — самая центральная в нашей вере: есть вещи, которых мы сами не знаем, о них нам сказал Господь Иисус Христос: *Бога никто*

никогда не видел, но Сын, находящийся в недрах Отчих, Тот явил нам (Ин 1:18). Тут мы принимаем свидетельство Самого Христа — потому что у нас есть данные Ему верить, то есть это относится к нашему внутреннему опыту. Мы повторяем слова Христа, потому что в Церкви Его познали как Сына Божия и каждый из нас как член Церкви, отчасти лично, отчасти вместе с другими, знает Его как Сына Божия, Который может свидетельствовать о Боге то, чего мы не знаем лично.

И вот, если принимать в учет эти три зоны: мое личное, то, что я знаю вместе с другими, и то, что я знаю только по свидетельству Самого Бога, — если каждую из них оттенить достаточно, то слушающий может принять мое свидетельство.

А относительно риска сказать что-нибудь «не то» — если мы осторожны, если мы говорим: знаешь, мне это так представляется, лучше я выразить не могу, — риск очень мал. Во всяком случае, мне кажется, что гораздо меньше вреда в том, чтобы мы объяснили человеку своими словами и «не так» или, во всяком случае, «не очень так», чем просто молчали бы и отказались от свидетельства.

Раньше вы говорили о неверующем, но чутком человеке. Таких единицы все-таки. Почему?

Я не могу на это ответить, не знаю. У меня есть как бы подозрение о чем-то. Я думаю, что есть люди, которые должны остаться богоискателями, что это их призвание на земле. И есть люди, которым Бог Себя открывает, чтобы они были свидетелями Живого Бога на земле. Я не знаю и не понимаю, как это укладывается, но знаю, что всякий человек, делающий добро, дорог Богу, всякий ищущий, рано или поздно, хоть на смертном одре, хоть по ту сторону могилы, станет перед Ним, и, как говорил один из русских священников, умерший на Западе, нет такого человека, который, встретивши Христа в вечности, не падет к Его ногам и не скажет: «Тебя, Господи, я всю жизнь искал!»

Но я должен сделать тоже предупреждение, относящееся к нам, ко мне самому в первую очередь. Мы, христиане, и мы, священники, заслоняем Христа, заслоняем Бога, не даем людям доступа к Живому Богу. Мы превратили Евангелие в закон, мы превратили область благодати в законничество, мы создали такую атмосферу, что не узнать порой простора и дыхания жизни и свободы, которые человек может увидеть или пережить, впервые встретившись с Евангелием. И это очень страшно. Очень страшно, что, когда человек встречается с Богом, хотя бы касается края Его ризы, он начинает оживать, а входит в наше общество — и погружается в какую-то полусмерть, уставность, нежизненность. Мы должны из этого вырасти, каждый из нас и все вместе. Я сейчас не говорю о том, что правила не имеют своего места, что устав некстати и так далее, я говорю о том, что все это как подсвечник должно бы быть, на котором горит ярким пламенем свеча, а у нас, к сожалению, так часто, кроме подсвечника, ничего не видно. Мы заслоняем собой свет — а должны были бы быть людьми, в глаза которым можно посмотреть и увидеть вечность. Вы все помните, как сошел с горы Синайской Моисей и люди не могли стерпеть сияния его лица, ему пришлось закрыть лицо покрывалом (Исх 34:29—35). Если бы мы так сияли, если бы люди, встречая нас, это могли пережить, тогда все было бы хорошо, тогда они жили бы всем церковным богатством и устава, и песнопений, и иконописи, но это был бы не ветхозаветный закон, а простор благодати Нового Завета.

У меня подруга неверующая, алкоголичка, совершенно одинокая, брошенная всеми, включая сына, очень тянется ко мне, но постоянно спорит на тему религии. Как мне с ней поступать?

Я не верю, что можно спорить о религии. Единственная сила, мне кажется, которая может убедить, это — чтобы человек увидел, что вера другого человека рождает такую глубину любви, такую глубину понимания, такую верность, из которой появляется способность терпеть и оставаться лояльным, никогда не терять терпения, не говорить: я же на тебя потратил столько времени — ну и довольно, ищи кого-то другого. Иногда это занимает годы и годы. Я это знаю на опыте других людей, не только на своем собственном: иногда человек годами не бросает другого, и после десятилетий тот вдруг открывается к новым понятиям и новой жизни, причем не обязательно делается «верующим» — в кавычках, а просто — вдруг раскрывается к жизни. Спор о религии большей частью (как спор о чем угодно) только прибавляет тему неудовлетворенности, неполноценности к жизни человека. А алкоголизм, как наркомания, как распутство, как преступность, большей частью рождается от чувства неполноценности и от попытки забыть эту неполноценность или ее чем-то заменить. Надо найти какой-то способ дать человеку, каков бы он ни был, сознание полноценности.

Может ли опыт атеизма что-то значить для верующего?

Знаете, вопрос атеизма иногда очень любопытен среди христиан, даже среди богословов. Вы, наверное, слышали о богословии «смерти Бога»³²⁷. В примитивнейшем смысле это началось со слов Ницше «Бог умер». Но богословие «смерти Бога» далеко отошло от этого пункта. Началось с анкеты в Америке: сколько людей всерьез верит в Бога и для скольких Бог как бы «вымер» из их мировоззрения. Потом это было подхвачено целым рядом богословов как интересная тема, и все подходят к ней по-разному.

Одного из таких богословов я знаю, мы встретились на съезде в Женеве. Тема была — богопочитание; в группе из восьми человек, где я был, началось обсуждение, и мы увидели, что у всех и подход, и опыт, и мировоззрения так различны, что мы не можем друг с другом разговаривать: мы будто говорим на разных языках, «вавилонская башня». Тогда мы решили посвятить целый день тому, чтобы друг с другом знакомиться: ты расскажи о себе, что ты такое. То есть не биографическую справку дай, а скажи, каков твой религиозный опыт, твое мировоззрение. И я спросил одного из них, ван Бурена, который мне был наиболее непонятен: «Как вы себя определяете?» Он говорит: «Я себя определяю как христианского безбожника». — «Что это значит?» Путем довольно долгого, сложного разговора мы выплыли на такую фразу: «Я опытно ничего не знаю о воскресении — я не воскресал. Я могу верить, что Христос воскрес, но до меня это не дошло. Когда я думаю, где мое место, — в лучшем случае я стою на том пункте траектории, где Христос как бы потерял Бога». Но, понимаете, когда человек пишет: «Я — христианский безбожник», — это наводит на мысль, что он отрицает Бога, это вовсе не говорит, что он стоит на той трагической грани, где участвует в опыте Христа на кресте.

Другие говорили: «Я стою по эту сторону Гефсиманского сада, я могу принять всю евангельскую историю Христа до Гефсимании, но я не испытал ничего относящегося к Гефсимании, значит, я чужд этому, я еще по эту сторону». И замечательно, что человек с честностью может это выразить, потому что мы очень легко думаем, что находимся по ту сторону того или другого, не пережив это иначе как эмоционально, в воображении.

Есть еще другое. Это моя выкладка, я вам ее представлю, как умею. Могу сказать, что люди вполне православные, с которыми я говорил об этом, меня в ереси не обвинили и не отказываются общаться со мной, но тем не менее это непривычный, необычный подход.

Для того чтобы умереть нашей смертью, то есть смертью, которая для нас значима, которая для нас имеет реальные, существенные последствия, Христос должен был приобщиться к единственной причине смерти — к отрыву от Бога. Нельзя умереть, не потеряв Бога, и крик Спасителя: *Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?* (Мк 15:34) — это крик совершенного Человека, Который свободно, по любви приобщился к основной трагедии человека: к его оторванности от Бога, к тому, что человек потерял Бога. Так что, думаю, можно сказать, что Христос испытал безбожие (я говорю не об идеологическом безбожии, а о реальности его), обезбоженность, как ни один атеист на свете его не испытал, и в этом смысле нет ни одного человека — ни атеиста, ни верующего, — кто остался вне опыта Христова. Христос объемлет и верующего, и безбожника, хотя, разумеется, безбожник идеологический или человек такой, о ком апостол Павел говорит: *их бог — чрево* (Флп 3:19), обезбожен совсем по-иному, чем Христос в тот момент. Он потерял Бога ради того, чтобы быть единым с нами в единственной, последней трагедии человечества. Как Григорий Богослов говорил: к чему Христос не приобщился, того Он не спас. Он нас не спас бы от смерти, если бы не приобщился ей. Он не мог просто приобщиться смерти, умерев добровольно, потому что это Его не приобщило бы к тому, что является трагедией человечества, то есть к потере Бога, от которой умирают люди.

И в этом смысле я глубоко уверен (я сейчас говорю теоретически, я не говорю о конкретном безбожнике или об уродстве того, что бывает) в том, что Христос именно держит в Себе всех, и поэтому есть тайна спасения, гораздо более таинственная для нас, менее понятная для нас, чем такое представление: вот, верь, живи хорошо, веруй во Христа — и спасешься. Есть тема атеиста, тема безбожника, которая разрешается во Христе, а не вне Христа.

Я не знаю, ужасает ли вас такой подход, но я к этому пришел постепенно очень сильным переживанием — ну, сколько я умею переживать. И у меня есть вдохновляющая надежда, что можно осмыслить — я не говорю: атеизм во всех его элементах, — но что есть какие-то поиски, которые надо совершать. Не говоря уж о том, что очень многое в безбожии рождено не отрицанием Бога, Какой Он есть, а Бога, Каким мы Его представляем. Если взять историю христианского мира, то можно отшатнуться. Так часто христиане — и в нашей отечественной истории, и на Западе — Бога представляли в таком виде, что неверующий вправе был бы сказать: я не могу признать в Нем свой идеал.

Не затрагивая вопрос о бытии Божиим, — если бы я не мог уважать Бога, я не выбрал бы Его своим Господином. Как-то я взял темой лекции: «Бог, Которого я могу уважать». Я могу уважать Бога именно ради Воплощения и того, что случилось далее. А Бога, Которого боятся, перед Которым раболепствуют, — нет, к счастью, человек не согласен принять, потому что и Бог не согласен, чтобы к Нему так относились, Бог не может нас принять как рабов. В Кембриджском университете я читал ряд лекций на тему «Бог, Каким я Его знаю»; такая формулировка темы позволяла мне говорить только о том, в чем я уверен, без того чтобы кто-нибудь мог мне сказать: «Да, но вы не осветили такие-то и такие-то стороны», — о которых я по необразованности, может быть, и понятия не имею, не слышал. Так вот, я попробовал показать, что Бог достоин нашего уважения, что наш Бог — не только Такой, перед Которым мы преклоняемся просто потому, что Он Бог, но Такой Бог, Которому можно отдать свою жизнь.

Теодицея потому так часто бывает слабой, что стараются «оправдать» Бога на таком уровне, на такой плоскости, где из Бога делают образ человека и ничего не остается от Бога в Его величии. Конечно, Бог не требует от нас и не ожидает от нас только поклонения. Когда апостол Павел говорит: *мы стали Богу свои* (Еф 2:19), когда Христос

после воскресения говорит Марии Магдалине, имея в виду апостолов: *иди и скажи братии Моей* (Ин 20:17), — это значит, что мы стали Ему настолько свои и родные, что должны бы Его знать достаточно. И для этого нам следует продумывать то, что мы знаем о Боге, ставить перед собой вопросы. Опять-таки, мы грешим против Бога, когда встает вопрос и мы его решаем против Бога без размышления, потому что в нас есть какая-то доля неопытности, отсутствия опытного знания. Но я не думаю, чтобы Бог гневался, когда мы Ему говорим: «Я Тебя не понимаю».

Часто мы легко «оправдываем» Бога: ну, конечно, я недостоин... Само собой разумеется, что мы и вправду часто недостойны, но это можно в скобки взять и поставить вопрос себе о Боге или перед Богом в молитве: «Господи, я Тебя не могу понять, и это непонимание стоит между Тобою и мной — помоги!» Мы могли бы в каких-то наших решениях ошибаться, но пока наша ошибка заключается в том, что мы ошупью ищем настоящего ответа, мы не подпадаем под осуждение; осуждение начинается там, где мы отказываемся от истины просто для удобства или потому, что слишком дорого стоит ее искать.

К сожалению, спор между материализмом в самом его предельном виде и христианством не происходит, нет разговора. Есть люди, которые пишут книги, но очень мало бывает случаев встретиться и говорить друг с другом. Есть целый ряд тем, где мы могли бы встретиться, не в том смысле, что мы согласились бы друг с другом, а в том, что мы могли бы говорить на одну тему. Скажем, первая точка соприкосновения — это человек. Теоретически именно человек стоит в центре мировоззрения или заботы материализма, как и в центре христианского мировоззрения. Какой человек — вот тема диалога.

Можно ли дать точное и единственное определение атеизма?

Я думаю, что атеизм как «опытное знание» — недоразумение. Идеологический атеизм, скажем, философия атеизма может просто быть следствием того воспитания, которое ты получил. Но когда человек говорит: «Я о Боге ничего не знаю, и поэтому Его не может быть», — это очень примитивный подход. Я могу быть слепым или глухим, ничего не знать о музыке или о видимом мире, но это не доказывает, что его нет. Это может быть осложнено тем, что люди злой воли или сами ослепленные (бывают и другие причины: я вам дам один пример очень любопытный) закрывают другим путь к вере, просто стараясь как бы умертвить способность верить, сводя веру к мировоззрению, тогда как вера должна охватывать гораздо большую область.

Но иногда человек делается неверующим потому, что это его единственная защита против совести. Мне сейчас вспомнился рассказ одного умного, тонкого, образованного священника в Париже. Когда-то он был «безбожником», то есть он без Бога жил и считал себя слишком культурным и развитым, чтобы даже думать о том, чтобы быть верующим. Он разговаривал с одним священником. Сельский священник без всякого особенного образования, который попал из России в эмиграцию, его долго слушал и сказал ему две вещи: «Во-первых, Саша, не так уж важно, что ты в Бога не веришь, — Ему от этого ничего, а замечательно, что Бог в тебя верит». И второе: «Ты, Саша, пойдика домой и подумай, в какой момент и почему ты веру потерял, в какой момент тебе оказалось нужным, чтобы Бога не было».

Саша вернулся домой и стал думать, он был озадачен такой постановкой вопроса, таким подходом: он ожидал миссионерской речи или указания читать какие-то трактаты, а вместо этого — пойдика и разберись. И он, как сам рассказывал потом, искал причины сначала в своем образовании в Богословском институте в Париже³²⁸, потом в университете в России до революции, потом еще где-то, все никак не мог найти и

добрался до шестилетнего возраста. Он жил в одном из городов России, был милым мальчиком, ходил в церковь каждое воскресенье и считался очень благочестивым: приходил, крестился, становился посреди церкви впереди и молился Богу. Каждое воскресенье ему давали одну копейку, которую он должен был положить в шапку нищего слепого, он ее клал и шел в церковь с чувством, что совершил доброе дело, оказал любовь, внимание — и теперь может пойти к Богу с чистой совестью. Как-то перед Рождеством, гуляя с матерью по городу, он набрел на магазин, где была чудная деревянная лошадь, стоившая шесть копеек. Он попросил мать ее купить, та отказала, он вернулся очень огорченный. А в следующее воскресенье, когда он шел в церковь и дошел до нищего, он подумал, что, если шесть раз не дать этой копейки, он сможет купить лошадь, — и копейки не дал. Так он поступил четыре раза, а на пятый подумал: а если взять у него копейку, то я раньше смогу купить эту лошадь. И он у слепого украл копейку. После этого он вошел в храм и почувствовал, что не может стоять впереди: вдруг Бог его заметит, — и ушел в какой-то угол. Няня вернулась с ним домой и рассказала родителям, которые пришли в восхищение: до сих пор он был маленький, он становился перед Богом, а теперь он вошел внутрь себя, его жизнь в Боге делается более потаенной, он ищет укромного места, где он мог бы молча и созерцательно пребывать перед Богом. А Саша чувствовал, что дело очень плохо и что надо от Бога скрываться. И вдруг вернулся из университета его старший брат, который там нахватался безбожного учения, и ему стал доказывать, что Бога нет. И Саша за это ухватился: если Бога нет, то совершенно неважно, что он украл эту копейку и не положил пяти. И с этого началось в нем «безбожие»: учение о том, что Бога нет, он воспринял как единственное спасение против укоров совести.

Так что, когда человек говорит: «Я неверующий», или: «Бога нет!» — не всегда надо подходить с философской точки зрения, иногда можно поставить вопрос: откуда это идет? Если вы действительно хотите что-то для человека сделать, вы должны ставить вопрос за вопросом, чтобы понять; не поняв ничего, вы будете бить мимо всякой мишени. В каком-то смысле безбожие — это научное недоразумение, это отказ от исследования всей реальности, это так же ненаучно, как сказать: для меня музыка не существует, и поэтому ее нет. Нельзя так ставить вопрос неверующему, потому что, конечно, существует слишком богатый материал, чтобы отбиваться. Но в сущности безбожие — это нежелание принять свидетельство хотя бы истории, хотя бы отдельных людей, которые говорят: «Я знаю». Таких и среди ученых много.

Но добросовестный ученый, увидев тайну реальности, не обязательно различит в ней тайну Самого Бога...

Видите, если он будет погружаться в свое исследование и продумает то, о чем я говорил, — что область веры не есть ограниченная область религиозников, а подход к жизни, — то, конечно, в своих научных исследованиях он будет находить тайну тварного мира, но это ему может приоткрыть возможность поставить себе другие вопросы. Как мне кажется, люди, говорящие, что, обнаружив глубины тайны мира, они сделали заключение о том, что должен быть Бог, стоят на несколько шатком основании. Говорить, что ты стал верующим, можно, когда ты прикоснулся реальности Бога — или непосредственно, или через людей, но просто логически нельзя делать такие заключения. Я знаю молодого человека, очень одаренного. Он был воспитан в безбожии. Когда он поступил в университет, он снимал комнату у умного, образованного верующего. У них начались бесконечные споры. Юноша был молод и неподготовлен, его хозяин был умен и опытен и разбил его наголову. И юноша сделал логическое заключение из того факта, что он диалектически разбит: значит, я должен стать верующим. Он себя заявил верующим, крестился, учился богословию. От него ожидали великих вещей, но в какой-то момент он вдруг понял, что никогда не пережил никакого рода религиозного опыта, что он сделал

логические выводы из того, что его разбил в области логики человек более умный, более опытный и образованный.

Тут очень трудный вопрос, потому что всегда есть область, где даже духовник не уверен до конца, в какой мере человек опытно знает или не знает. Но все же, пока в человеке нельзя обнаружить — пока он сам в себе не может обнаружить — в каком-то объективном отношении, что он о Боге знает лично, а не понаслышке, не надо спешить с его крещением или принятием в православие. В нашем приходе мы выдерживаем людей очень долго именно потому, что мое убеждение таково: надо, чтобы человек знал где-то в пределах собственного опыта, что есть вечная жизнь.

Но ведь само крещение может этому содействовать?

Оно может содействовать, но не может всего заменить. Я знаю ряд случаев, когда англиканские или католические священники просто говорили человеку неверующему, который, точно в потемках, был в поисках: «Крестись — и тебе будет дана вера». Это катастрофа, вера *дается*, но не просто потому, что над человеком совершено крещение. Двух таких людей я знал и принял в православие, но мне пришлось десятки лет работать с ними, чтобы они изжили отчаяние и разочарование, что Бог их обманул. Священник от имени Бога им обещал: «Я тебя окуну в святую воду, и ты получишь веру», окунули — и ровно ничего не случилось. В одном случае было еще хуже: человек был психически расстроенный, ему была обещана не только вера, но и исцеление, и не последовало ни исцеления, ни веры. Так нельзя подходить, нельзя обещать, что таинства подействуют на человека автоматически. Это не укол морфия, не лекарство, которое подействует, кто бы ты ни был и что бы с тобой ни делалось.

В православном учении есть понятие о действительности таинств, то есть о том, что таинство, совершенное законно поставленным священником и преподаваемое человеку, реально. Скажем, Евхаристия: *сие есть Тело Христово, и сия — Кровь Христова* (Мф 26:26), — не зависит от веры или неверия принимающего. Но есть и другая сторона: таинство действительно, но может быть недействительно, потому что нет почвы, которая бы его восприняла. Когда апостол Павел говорит: берегитесь, как бы не принять таинство в суд и во осуждение (1 Кор 11:27—32), — речь об этом идет: нельзя принимать таинство в надежде, что что-нибудь произойдет. Для этого надо, чтобы в человеке был голод по Богу, тогда путем таинств может случиться то, чего невозможно достичь путем диалектики, спора.

Как вы относитесь к учению, которое говорит, что все грешники будут прощены, что ад несовместим с представлением о вечности? В частности, Бердяев настаивал на том, что учение об аде имеет значение скорее психологическое, чем богословское.

Это колоссальная тема! В двух словах я могу ответить так: уверенность в спасении всех не может быть уверенностью веры в том смысле, что в Священном Писании нет ясного, доказательного утверждения об этом, но это может быть уверенностью надежды, потому что, зная Бога, Каким мы Его знаем, мы имеем право на все надеяться. Это очень коротко, но достаточно точно выражает то, что я думаю.

Если немного это развить, я думаю, можно сказать несколько основных вещей. Во-первых, в языковом порядке. По-русски, когда мы говорим «вечное», мы имеем в виду разные вещи: мы говорим, что Бог «вечен», и мы говорим «свой век вековать». В одном случае мы говорим о Боге, указывая на то, что у Него нет ни начала, ни конца, что вечность Божия беспредельна, вневременна, надвременна, во втором случае выражение

«век вековать» значит прожить ограниченное количество времени. И когда вы читаете Священное Писание и отцов Церкви, встает вопрос о том, что мы хотим сказать, когда употребляем слово «вечность», применяя его к Богу или к твари. В некотором смысле нет соизмеримости между Божией вечностью и тварной вечностью: тварная вечность укладывается в пределы времени, Божия вечность никакого отношения к времени не имеет. Когда мы говорим, что Бог вечен, мы не говорим о каком-то длении; это одно из выражений, которое значит: Бог, Какой Он есть.

Если обратиться к Священному Писанию, когда говорят о Суде, постоянно приводится тот или иной текст, как будто он единственный и самодовлеющий. Текст, который всегда приводится, — это притча о козлицах и об овцах (Мф 25:31—46). Мне кажется ошибкой думать, будто смысл этой притчи — описание вечной судьбы одних или других: одни пойдут в огонь вечный, а другие — в радость вечную; центр тяжести в притче — указание, на каком основании суд происходит. Прочтите, и вы увидите, что тема поставлена драматически, как суд, но урок, который при этом извлекается (больных не посещал, голодных не кормил и так далее), можно свести к такой фразе: если ты человеческим не был, просто — человеком не был, не воображай, что ты божественным будешь.

Вот, в сущности, тема этой притчи. Но даже если понять эту притчу как притчу о критериях суда — что мне кажется более верным, — а не просто о суде, то надо ее сопоставить с другими притчами, другими высказываниями Христа. Христос с тем же авторитетом нам говорит: совещавайся со своим соперником, пока ты на пути, как бы он тебя не предал судье, а судья — истязателю, и не посадил бы тебя в темницу, и не выйдешь ты из нее, пока не заплатишь последнюю полушку (Лк 12:58—59). Это уже вовсе не говорит о том, что грех имеет своим результатом вечное мучение.

Из этой дилеммы католики выходят тем, что козлица и овцы определяют ад и рай, а этот период тюремного заключения — чистилище. Но это — измышление, справедливо оно или нет, но это плод человеческого творчества. Если мы принимаем всерьез одно место, мы должны также принимать интегрально серьезно другое. Апостол Павел говорит, что, когда все будет завершено, Христос предаст Свою власть в руки Отца и тогда *Бог будет все во всем* (1 Кор 15:28). Этим он говорит что-то очень определенное: *все во всем* не значит «нечто в некоторых» или «все в немногих». Опять-таки, Иоанн Златоуст выходит из положения, объясняя, что те, которые согрешили и будут козлицами, будут как бы призраками, в них не будет реальности, и поэтому Бог будет все во всех — в тех, которые имеют реальность. Если бы такое объяснение не принадлежало Иоанну Златоусту, я бы сказал: это передергивание, потому что текст ничего подобного не говорит, это способ объяснить в пределах предвзятого богословия текст, который иначе не объясним. Но было бы, вероятно, и добросовестнее, и более творчески сказать: не понимаю! Все бы это приняли, потому что никто не ожидает, что все до конца понятно. Есть и другие места, но достаточно и этих трех примеров.

Если же вы берете отцов Церкви — и богословских, и аскетических³²⁹, — то вы видите, во-первых, что они выражали разные мнения, а во-вторых, что если некоторые мнения и были осуждены, то люди, их выражавшие, не были осуждены. Скажем, учение Григория Нисского о всеобщем спасении было осуждено, вернее, не было принято как учение Церкви: оно не было анафематствовано, но и не стало учением Церкви³³⁰. Если вы вдумаетесь в него, оно говорит, в сущности, очень коротко и упрощенно следующее: Бог, будучи Любовью, не может осудить на вечное мучение Свою тварь, поэтому Он всех простит и все войдут в Царство Небесное. Но тут есть нравственный момент — или, если предпочитаете, безнравственный момент. Зло не может просто потому войти в Царство

Божие, что Господь скажет: Я тебя прощаю! Человек, сотворивший зло, должен перемениться для того, чтобы войти в Царство Небесное. Если вы в Царство Небесное введете человека, которому чуждо все содержание этого Царства, он будет в аду, так же как если человека, который ненавидит музыку, посадить в концерт, он будет ерзать от страдания, и ваша доброта в том, что вы его туда пустили, ему ничем не поможет.

Есть целый ряд других соображений, которые уже относятся к размышлению на тему больше, чем к текстам и к недоумениям, которые рождает текст. Возьмите картину Страшного суда, которую дает апостол Павел, правда, не в одном, а в различных местах своих посланий (Рим 2:1—6; 1 Кор 3:13—15; 6:2—3; 15:24—28; 50—53; 1 Фес 5:2—5; 2 Фес 2:1—12). Картина такова: будет суд, судить будет Христос, — но будет ли это похоже на нормальный, справедливый суд? В любой нормальной стране есть законодательная инстанция, которая вырабатывает законы по принципу какой-то справедливости, может быть, справедливости с определенной точки зрения, но все равно на принципиальном основании, затем есть судья, который непричастен созиданию закона и не может закон менять, он должен его *применять*, есть обличитель, есть виновный, есть защита. А теперь поставим себе вопрос: похоже ли на этот трафарет наше представление о Божиим суде? Законодатель — Бог, судья — Бог, защитник наш — Христос, искупитель наш — Христос, и если весь род человеческий поставить на суд, один из подсудимых — Сын Человеческий, Иисус из Назарета. Какая же это картина суда? Разумеется, Павел никогда и не думал представить суд в таком порядке, но если уж мы хотим говорить о правосудии в человеческой форме, то вот вам и правосудие: кто кого может судить в этом деле, кто кого будет засуживать? Кто создал закон?

И еще: сущность Царства Божия — любовь, сущность царства тьмы — нелюбовь, ненависть, мертвенность по отношению к любви. И вот представьте себе Царство Божие, в которое вошли беленькие, а снаружи остались черненькие, — скажем, овцы и козлища. Каково будет овцам-то в Царстве Божиим? Когда вы думаете теоретически: «овцы и козлища», вас это не особенно волнует, потому что вы никогда ни овцой, ни козлищем не были. Но если себе представить реально: вот, тебя пустили в Царство Божие, а твоего мужа, твою мать или сестру определили в царство тьмы — каково тебе будет в этом Царстве Божиим? Выйти из положения, как Фома Аквинат выходит (говоря, что тогда мы поймем, что Бог справедлив и все, что Он делает, — правильно), невозможно, недостаточно, потому что я, может быть, и скажу, что Бог во всем прав, а душа-то моя будет разрываться. А если она не будет разрываться, значит, во мне любви не так уж много, раз я могу забыть самых родных, самых близких, тех, которые для меня были кровью и плотью моей жизни, просто потому, что сам в рай попал.

Если себе представить это картинно (я, знаете, мыслю очень примитивно, вы это наверно замечали уже): в центре будет Бог, Который есть Любовь, Который создал всех по любви, Который в конце Книги Ионы говорит: вот, ты плачешь об этом деревце, которое в одну ночь выросло, Мне ли не горевать о целом городе Ниневии, который Я создал? (Иона 4:10—11) — в центре будет Бог, Который есть совершенная Любовь, Который безутешно будет думать о тех, кто вне Царства Божия. Потом, по мере того как концентрическими кругами идут люди с меньшей и меньшей любовью, им будет спокойнее и спокойнее. Единственные, пожалуй, которые будут совсем спокойны, — это те, кто на краю, смотрят через плечо и думают: «Слава Богу, я не там!» (Знаете, как человек, который вскочил в автобус в последнюю минуту и думает: упаду или не упаду? — и радуется, что он в автобусе и не упал на улицу.) Это единственные, кого я могу представить, кому «хорошо». Простите, это, конечно, плохое богословие, но это мое восприятие вещей.

Конечно, такого рода логических выкладок недостаточно, чтобы решить вопрос, но есть и другие вопросы. Нам говорится в книге Откровения о том, что Суд придет, когда завершится полное число избранных, и употребляется по отношению к Израилю цифра сто сорок четыре тысячи (Откр 7:4, 14:2). Но это символика: сто сорок четыре — это двенадцать раз двенадцать, двенадцать в себе содержит три и четыре. Это все комбинации цифр, которые представляют собой символику, — ясно, что это не полное число спасаемых.

Далее, когда мы думаем об избранных, мы всегда представляем их привилегированными: избранник — это тот, кому досталось что-то очень хорошее в жизни. Но если подумать об избранничестве в Новом Завете, тут избранничество заключается в том, что из среды человечества Бог выбрал людей, которые согласны разделить Христову крестную участь. Наше избранничество — крестное избранничество, а вовсе не избранничество на славу и покой. И тогда можно себе такой вопрос поставить (я его не разрешаю, я просто ставлю вопросы перед вами): не зависит ли спасение мира от того срока, когда земля принесет в дар Богу тех людей, которые вместе со Христом могут поднять тяжесть ее греха и ее спасти? Но как? Опять-таки намек и вопросительный знак.

Если говорить на эту тему еще минутку-другую, думаю, надо обратить внимание вот на что. Отцы Церкви применяют к сатане отрывок из Исаии: я поставлю престол мой над небесами (Ис 14:3). Цель сатаны — создать независимое от Бога, самостоятельное вечное царство. Вечный ад в этом смысле — победа для сатаны: параллельно с Богом он осуществит то, чего хотел, он будет нераздельный царь вечного, совечного ада. Это непонятно.

Есть и другие моменты. Если вы возьмете таких людей, как Исаак Сирин, некоторые места из Ефрема, некоторые места из других отцов, вы увидите, что и они воспринимали вещи гораздо менее просто и примитивно, чем «козлица» и «овцы». Исаак Сирин говорит: единственный огонь ада — это Божественная любовь. Или — что значит «вечный огонь»? Неужели вопрос в длении, в том, сколько это длится? Мы все знаем выражение «сгореть со стыда»: в одно мгновение можно действительно сгореть от стыда, и ничего не прибавится от того, что ты будешь гореть часами. Мгновение, когда вдруг тебя сцапали и стыд тебя покрыл, имеет какую-то окончательность, вневременную окончательность, которая может быть названа как вечным огнем, так и мгновением.

А теперь думайте сами на эту тему и — надейтесь. Если бы мы надеялись больше, то, когда нам перепадает страдание, скорбь, унижение, мы могли бы отзываться так, как древние христиане делали: слава Богу, я получил над этим человеком, над этими людьми власть прощения. Подумайте просто об этом. Это не вероучение, это надежда христианская или, во всяком случае, надежда некоторых из нас.

То есть учению о предопределении нет места в православии?

Вопрос слишком для меня трудный, я просто не могу ответить на него в полном объеме. Могу как бы намекнуть, каким мне видится ответ. Вопрос о предопределении обсуждался очень остро в западной Реформации, и в то время в Венеции греческий епископ Илья Минякий написал малюсенький трактатик о предопределении, центральная мысль которого такова: предопределение *есть* — мы все предопределены к вечной жизни. Заходи — и вступи в нее. Это не предопределение, а призвание. Господь всех зовет: придите ко Мне *все!* В каком-то смысле почти можно взять тираду Мармеладова: «Придите ко мне, мои пьяненькие...»³³¹.

Как вы относитесь к теории перевоплощения? Все-таки одна ли жизнь у человека по христианству?

Первоплощение, ряд последовательных жизней — нечто, чего я совсем не могу принять, я в это не только не верю, а как-то решительно протестую внутренне. В христианском мировоззрении нет никакого места для множества жизней и перевоплощения. Так думать можно, во-первых, если рассматривать каждого человека как единицу, оторванную от человеческого рода, чья судьба совершенно отдельна от судьбы его предков и его потомков. Второе — это в своем роде отрицание единственности и неповторимости данной личности. В-третьих, думаю, дело не так просто, как представляется. Можно ли сказать, что в христианском представлении жизнь человека кончается с его земной смертью? Думаю, что так сказать нельзя, потому что, проживши даже самый короткий срок, человек оставляет в жизни других людей след, как бы бросает в почву семя, которое будет прорасти еще очень долго.

Говоря уж очень не богословски, есть басня Крылова, где описываются два человека: один — убийца, другой — писатель, автор средней нравственности романчиков, скажем так³³². Оба умерли и кипят в смежных котлах. И вот в процессе кипения писатель оказывается на поверхности, смотрит через край в котел своего соседа, думая: меня-то так кипятят — каково же ему, убийце? И оказывается, что убийца лежит в теплой воде и наслаждается отдыхом. Писатель тогда зовет дежурного беса, говорит: «Что за порядки у вас, безобразие! Я написал только несколько мерзких романчиков, а вы меня так круто кипятите, а он убил человека — и вы ему даете спокойно лежать в теплой воде, как в ванне. Что это значит?» А дежурный черт ему отвечает: «Это намеренно. Понимаешь, он в момент ярости убил человека — так мы его вскипятим, а потом даем немножко отойти. А тебе каждый раз, когда кто-нибудь покупает один из твоих романов, мы прибавляем по полону».

Конечно, в такой форме это кажется совершенно не богословским, но возьмите это более серьезно. Скажем, четыре евангелиста написали Евангелия, на основании этих Евангелий миллионы людей нашли Христа и начали совершенно новую жизнь. Можно ли сказать, что жизнь Матфея, Марка, Иоанна и Луки кончилась в день их смерти? Их слово звучит через столетия, их влияние продолжается через столетия, есть люди, которые являются, как говорится в тропаре русским святым, *плодом их сеяния*³³³. Нельзя оторвать человека, обратившегося через слово проповеди, от проповедавшего; человек, который услышал живое слово и стал святым, — плод этой проповеди.

Если взять другой пример: французский второстепенный писатель Гобино написал в свое время книгу о неравенстве человеческих рас³³⁴. Его романы и рассказы мало читаются, а это его произведение никем не читалось до дня, когда Гитлер прочел — и вдохновился. Можно ли сказать, что Гобино никакой ответственности не несет за то, что, прочитав его книжку, Гитлер выработал целую систему неравенства, которая повела от одного к другому ко всему тому, о чем мы знаем? Так что в жизни человека его ответственность продолжается до Страшного суда, до дня, когда вся история будет закончена.

То же самое можно сказать и о нашей наследственности, о прошлом. Каждый из нас по наследству получает свойства тела и души от всех предков, начиная от Адама и Евы. Но мы получаем иногда свойства не хорошие и не плохие: от нас зависит, что мы из них сделаем. Скажем, ты унаследовал обостренную чуткость. Это может в тебе — в значительной мере по твоему выбору — сделаться способностью глубоко сострадать, сочувствовать, понимать или, наоборот, легко раздражаться и отбрасывать людей. И в тот момент, когда ты сделал этот выбор, ты поляризовал эту возможность, и все, кто тебе

передавал из рода в род эти свойства, оказываются перед катастрофой: ты взял их наследие и изуродовал его. То же самое можно сказать и в обратную сторону. И мне кажется, в поддержку такого взгляда можно взять тот факт, что два из Евангелий дают нам родословную Христову (Мф 1:1—16; Лк 3:23—38). Это не напрасно. Он унаследовал все то, что человеческий род из поколения в поколение приносил Богу как дар. Среди Его предков есть и святые, и грешники, есть и добро, и зло, но это все перемололось до момента, когда вдруг, наконец, созрело время, — Его человеческая личность была для Него как бы приготовлена.

Так что я думаю, что в этом отношении нельзя судить о жизни какого бы то ни было человека раньше, чем вся история не будет окончена. И не только такими рядами предков и потомков, но даже вширь, потому что мы все друг друга встречаем, все друг на друга накладываем какую-то печать и каждый человек, который слышит слово, его или воспринимает, или отвергает, берет на себя ответственность и этим либо осуждает, либо оправдывает говорящего. В какой-то момент мы все станем перед Богом в очень тесной круговой поруке. И мне кажется, что совершенно не нужно усложнять или искажать христианское учение идеей перевоплощения, потому что мы думаем в порядке человеческого рода, а не отдельных особей, которые как бы просто вертикально имеют свою личную судьбу безотносительно других.

Молитвенное предстательство³³⁵

Я попробую сказать о предстательстве то, что мне кажется важным, чтобы связать это понятие с жизнью. Для начала отмечу: в приходской практике, как и в общественной жизни, предстательство почти всегда понимают и осуществляют в форме молитвы, то есть благочестивого обращения к Богу, когда Его просят что-то сделать в ситуации, которая представляется полной боли или как будто требующей Его вмешательства. И очевидно, что суть такого обращения — предстательство.

Но мне кажется, что очень важно нам понять, — особенно в нашу эпоху, когда человеческая солидарность осознана всеми, когда понятие ответственного соучастия стало основоположным, — что предстательство начинается не в тот момент, когда мы обращаемся к Богу с молитвой, а чуть раньше, и начинается оно с готовности взять на себя ответственность.

Вероятно, все вы знаете, что латинское *intercedo*, «предстательствовать», не означает «молиться», но «сделать шаг», «вступить в сердцевину ситуации». Предстательствовать означает встать там, где конфликт, встать между двумя сторонами противостояния. И это очень важно, потому что только при таком условии наше предстательство имеет вес. Мы заняли ответственную позицию, и наша молитва состоит не в том, что мы изложили перед лицом Божиим какую-то нужду, — мы сами здесь, предстоим и готовы к тому, что наше присутствие окажется решающим или, во всяком случае, значительным.

С этой точки зрения есть большая разница между тем, кто делает такой шаг, ставящий его в сердцевину ситуации протеста, напряжения, насилия, и тем, кто готов стать посредником или попытаться найти условия компромисса. Посредник остается снаружи. Он пришел извне, он обладает объективностью равнодушия, он может оценить ситуацию и вместе с тем остаться вне ее. Он будет посредничать от одного к другому, пытаясь найти условия соглашения, а потом уйдет. Предстательство предполагает не такое отношение.

Образ, который мне приходит на ум, мы находим в Книге Иова, в конце девятой главы. Иов доведен до отчаяния, раздавлен тем, *что* его друзья говорят ему о Боге и чего он не

может принять, потому что у него сыновнее сердце и он не может думать, будто Бог поступает просто по произволу. И в какой-то момент Иов восклицает: где же тот, кто встанет между мной и Судьей моим, кто положит руку свою на Его плечо и на мое плечо? (Иов 9:33). Вот в чем предстательство, вот чего ожидал Иов! Не того, кто со стороны или мимоходом попытался бы сблизить противостоящие стороны, а того, кто встанет в самую сердцевину ситуации и протянет руки к обеим сторонам, чтобы их соединить.

Этот образ мы видим осуществленным в истории через воплощение Христа. Он, Христос, пришел, встал в самой сердцевине этого безысходного противостояния, этого как будто неразрешимого конфликта. Он сумел встать в сердцевине ситуации, потому что в Нем сошлись оба элемента конфликта: Он человек и Он Бог. Он Сын Человеческий и Он Сын Божий. Он Слово воплощенное, полнота Божества во плоти, и конфликт разрешается в этой плоти, в которой обитает полнота Божества.

Но в этом исходе две стороны. С одной стороны, конфликт до конца разрешен во Христе в том смысле, что Он совершенный человек, и человек, не разлучившийся от Бога, свободный от греха. С другой стороны, этот конфликт поражает Христа в Его целостности, потому что в Своей человеческой плоти Он умрет из-за Своей двойной солидарности. Душа Его *скорбит смертельно* (Мк 14:34), Он повешен на кресте, Он отвержен из града человеческого и в момент предельного ужаса, охватившего Его вследствие солидарности с падшим человеком, Он испускает крик отчаявшегося человечества: *Боже Мой, Боже Мой! зачем Ты Меня оставил?* (Мк 15:34).

Двойная солидарность и одновременно двойная оставленность, можно сказать — двойное отвержение. Это *двойная солидарность* — существенная черта акта предстательства. И поэтому христианское предстательство — выражается ли оно молитвой, обращенной к Богу, или действием, которое поставит нас в сердцевину конфликта, — совершенно непосильно. Оно не может быть понято извне, потому что ни Бог, ни христианин не выбирает сторон в этом противостоянии. Он един с тем и другим, принимает обоих. Он живет и умирает ради того *и* другого.

Ясно, конечно, что христианин не одинаково относится к жертве и к палачу, но ни жертва, ни палач ему не безразличны, и он не выбирает себе места рядом с жертвой, проклиная палача. Он умирает вместе с жертвой и, как Христос с высоты креста, возносит молитву к Отцу: *прости им Отче! они не знают, что делают* (Лк 23:34).

Эта двойная солидарность составляет суть дела, потому что предстательствующий, который принимал бы только одну сторону, молился бы: «Господи, помоги этому и отвергни того», не учитывая тем самым проблему спасения того, кто неправ, того, кто сделал выбор против Бога и против брата. Такая молитва не была бы молитвой подлинного предстательства.

Разумеется, в жизни мы делаем выбор: наше сердце влечется к одним и закрыто для других. Но поскольку наше сердце совершенно закрыто, а наш выбор означает исключение, отвержение «другого» *во тьму внешнюю* (Мф 8:12) еще прежде Суда Божия, поскольку мы молимся *против* «другого», тогда как должны были бы молиться *за* него, мы остаемся вне положения, которое выбрал Христос. Тогда нам следует поставить себе вопрос, насколько наша предстательская молитва подлинна и цельна, в какой мере она отвечает духу Христову.

Вот что в основе: христианин встает в ситуацию, связывается с ней, принимает на себя ответственность, и это должно быть сделано полностью, до конца. Мы не вправе войти в

ситуацию и оставаться в ней, лишь пока она терпима. Христос стал человеком однажды и навсегда. Он не сошел со Своего человечества в момент смерти на кресте (как считали докеты³³⁶), и после Своего Воскресения Он не вернулся в положение, которому человек не причастен. Христос остается Словом Божиим воплощенным, и Его преображенное тело воскресения вошло на небо со следами ран от Страстей. Это мне кажется чрезвычайно существенным.

Но это присутствие может осуществляться по-разному, в зависимости от ситуаций, применительно к данной трагедии или к той нужде, которая требует вмешательства. Первый пример: брак в Кане (Ин 2:1—11). Мы привыкли к этому евангельскому рассказу, и нас не поражает больше его нелогичность, потому что при первом чтении, еще без веры, без привычного нам благочестивого подхода к чтению слова Божия, этот рассказ должен бы задержать наше внимание, поставить нам проблему.

Вот что происходит. Господь, Его Мать, ученики, гости званы на бедную деревенскую свадьбу. Все сделано, чтобы радость была совершенна. И, однако, сердца еще жаждут радости, еще не переполнились радости, а пир кончается: вина больше нет! И тогда Божия Мать обращается к Своему Божественному Сыну и говорит: *вина нет у них*. Что Ее заботит? Неужели все дело в том, что Она надеется, что Ее Сын сможет умножить вино, что пир продолжится дальше и в конечном итоге все упьются и заснут тут же, на месте? Неужели этого мы ожидаем от первой просьбы, молитвы Матери Господней? Вино ли в центре проблемы?

Конечно же, нет! Дело в полноте жизни, преизбытке жизни, образом чего в Священном Писании является вино. Здесь надо вспомнить параллель, которую мы находим между вином и его действием и действием Духа в первое событие Пятидесятницы. Ученики выходят к народу полные вдохновения, внутреннего подъема, в таком вдохновении и радости, что толпа недоумевает. И в качестве объяснения высказывается мнение: *они напились сладкого вина* (Деян 2:13).

Вернемся к событиям в Кане. Дальше происходит странный разговор: *Что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час Мой*, — говорит Христос. В каком-то смысле Мать ничего не отвечает, как будто уходит от вопроса. Она ничего не говорит Христу. Она обращается к ученикам, к слугам и говорит им: *что скажет Он вам, то сделайте*. И как бы опровергая только что сказанное Им, Христос повелевает наполнить сосуды водой, благословляет их и посылает распорядителю пира эти сосуды, полные вина Царствия.

Что произошло в этот момент? Разумеется, можно сказать — и такое толкование сделать очень легко, — что текст был искажен, что в нем, возможно, не хватает одной фразы; весь текст ненадежен, если его переписать так, как написали бы мы, он станет совершенно ясным. Но отцы Церкви, люди духоносные подходили к вопросу иначе, и вместо того чтобы ставить под вопрос текст, они ставили под вопрос слишком упрощенное его понимание. И вот как можно его прочесть, основываясь на ряде древних писателей.

Первый вопрос означает: что, Жено, общего между Тобой и Мной? Почему Ты обращаешься ко Мне с просьбой об этом чуде? Потому ли, что Ты Моя Мать по плоти, самый близкий ко Мне человек на этом празднике? Это ли дает Тебе доступ и права, которых другие за собой не чувствуют? Если так, если Наша близость только по плоти, Мой час не пришел, Мы остаемся в плане естественных отношений, Мы не на уровне благодати, не на уровне веры, не на уровне Царствия уже пришедшего в силу, эсхатологическом уровне, который означает, что будущее уже присутствует и что настоящее уже раскрывается в меру вечности.

И Мать дает ответ. Она не обращается к Сыну, потому что так легко ведь дать ответ на словах. Она обращается к слугам и совершает *действие совершенной веры*, которое относится не к Сыну Ее по природе, а к Сыну Божию, Которого Она носила и родила. *Что скажет вам, то сделайте*, — говорит Она. И в то мгновение, когда совершен этот акт веры, час Господень настал. Вода омовения становится вином Царствия. Действием совершенной веры создаются условия Царствия: Бог может свободно вступить и действовать, потому что человек открывает Ему путь.

Есть еврейская поговорка, которая гласит: Бог везде, куда Его впускает человек. Объективно да, Бог везде. Он всемогущ. И, однако, Он нам дал свободу. Он призвал нас быть Его спутниками в вечности, Он призвал нас быть Его соработниками, сотрудниками в построении Царствия. Но Он не навязывается. Если взять образ Священного Писания, Бог стоит у нашей двери и стучит (Откр 3:20). Но Он войдет, только если Ему откроют.

Вот первое и чрезвычайно важное положение, потому что оно определяет глубинное значение нашего присутствия — не какого-то определенного поступка, а просто того, что наше присутствие как христиан в какой бы то ни было ситуации может оказаться — в силу акта веры, который мы можем совершить, по призыву Господню, по заповеди Церкви, — началом преобразования этой ситуации.

Возможно, некоторые из нас не раз, оказавшись в ситуации порой острого конфликта, охватившего не только отношения людей, но и самую их жизнь, исчерпав все доводы и будучи не в состоянии восстановить мир, который Один только Бог может дать, уходили в свои глубины и взывали: «Господи, по-человечески я больше ничего не могу сделать, но как человек, как христианин я стою перед Тобой и призываю Тебя: приди, Господи! Приди, и пусть Твое присутствие принесет мир, принесет примирение, сокрушит всякое противление. Пусть Твое присутствие, как свет, которого тьма не может принять, но не может и заглушить, рассеет сколько-то эту тьму. Пусть Твое присутствие отгонит бесов, вступи явственно, даже если те, кто ощутит Твое присутствие, не смогут его опознать как таковое».

И тогда наша роль — просто быть тем, чье обращение с верой дает возможность Богу вступить в некую ситуацию. Не объективно присутствовать как Творец, как Судья, а войти как Спаситель, лично соприкоснуться в наших глубинах с тем, что самое в каждом из нас истинное, самое подлинно человеческое.

Предстательство действием и молитвенное предстательство неразделимо связаны: мы можем приносить молитву, потому что мы здесь, присутствуем. И, скажу еще, глядя на образ Христа воплощенного, Господа распятого, что молитва становится полноценной, полновесной, если мы готовы нести все последствия своего стояния до конца, добровольного и деятельного, которое составляет наше предстательство или подкрепляет нашу молитву.

Я хотел бы дать несколько примеров; может быть, они помогут понять еще некоторые моменты. Первый пример должен показать, что в нашем современном мире, в нашей конкретной человеческой ситуации слова апостола Павла о любви сохраняют всю свою ценность: даже если мы проливаем свою кровь, но не имеем любви, это сделано впустую (1 Кор 13:1—8). Главное в мученике — не кровь, а неизменная, не изменяющая любовь. Дело не в тиграх и львах. Многие люди погибали, растерзанные хищными зверьми, но только те, чья смерть была проявлением милосердной любви, то есть любви к Богу и любви к людям, погибли мучениками в основном смысле этого слова, *μαρτυρῶν*, то есть свидетелями.

Вот первый пример. В 1923 году в Петрограде проповедует молодой священник. Его арестовывают за проповедь Евангелия, сажают в тюрьму, допрашивают, пытаются, бьют, через несколько месяцев выпускают. Он попал туда молодым человеком, полным силы, жизни и энергии, он вышел из заключения седым, разбитым стариком. Близкие окружают его и спрашивают: «Что осталось от тебя после этих месяцев?» И он отвечает: «Страдание выжгло все. Осталось одно — любовь». И во имя этой любви, того единственного, чего не могло одолеть страдание, он продолжал проповедовать среди тех самых людей, которые его предали и выдали, и через какое-то время умер в лагере.

Вот пример, очень простой, человека, который захотел быть присутствием — присутствием, полным любви. И он не стал задаваться вопросами о том, какие последствия это присутствие, это предстательство может иметь для него, он был готов заплатить дорогой ценой за спасение других. Через его слово, его любовь другие пришли к жизни, *он* от этого умер. Не об этом ли так часто говорит апостол Павел: *мы каждый день умираем* (1 Кор 15:31)?

Другой пример, уже не из русского опыта, а из опыта нацистских концентрационных лагерей. Об этом сообщалось вскоре после войны в немецкой газете. После ликвидации одного из лагерей американскими войсками там в бараке нашли кусок оберточной бумаги, на которой была записана молитва; я вам передам сущность ее. Там говорилось: «Господи, когда Ты придешь во славе, вспомни не только людей доброй воли, вспомни и людей злой воли. Но вспомни тогда не их жестокость, насилие, грубость. Вспомни плоды, которые мы принесли благодаря тому, что творили они. Вспомни терпение одних, мужество других, чувство товарищества, смирение, величие духа, верность, которую они пробудили в нас. И пусть, Господи, плоды, которые мы принесли, послужат когда-то их искуплению»³³⁷.

Это слова немецкого еврея, который был заключенным этого лагеря и там погиб. Он принес то свидетельство, которое, согласно этимологии, следовало бы назвать *предстательством*. Разумеется, он не по собственному выбору попал в лагерь. Но в тот момент, когда Бог, провидение его туда послало, он выбрал быть свидетелем Божиим, быть спасительным присутствием, потому что, по словам Жана Даниелу, невинная жертва получает поистине божественную власть прощать.

Еще пример. Федор Тимофеевич Пьянов, человек, который оказал некоторое влияние на мое видение вещей, когда я был молод, во время оккупации был отправлен в концентрационный лагерь за участие в Сопротивлении. Он вернулся оттуда спустя четыре года. При встрече я поставил ему вопрос: «Что вы вынесли из лагеря?» И он ответил: «Тревогу». — «Неужели вы хотите сказать, что потеряли веру?!» — «Нет, но пока я был в концентрационном лагере, пока я сам был предметом жестокости, я мог в любую минуту по образу Господа и в Его имя простить. Я мог сказать: „Прости им, Господи, они не знают, что делают!“ И поскольку я на себе испытывал их жестокое обращение, я был уверен, что Бог принимает мою молитву за них. Теперь я больше не страдаю. Но они-то ведь когда-то станут перед Судом Божиим. Они не представляют, что их ждет. А я? Как мне теперь доказать Богу искренность моей молитвы за них, когда я свободен от всякого страдания?» Вот еще пример ответственного предстательства, выразившегося в молитве.

И наконец, вот поступок, который сам является молитвой, никак специально не сформулированной. Одновременно с человеком, о котором я только что говорил, русская монахиня, мать Мария Скобцова, была арестована и увезена в концентрационный лагерь. Она оказалась в Равенсбрюке с женщинами, приговоренными к уничтожению. Одна из них билась в отчаянии. Она была молодая, уже истощенная, умирающая — и, однако, не

хотела умирать. И тогда мать Мария, которая на протяжении всех этих лагерных лет говорила союзницам о том, что верит в вечную жизнь, что смерть — не последнее слово, ей можно смотреть в лицо, что смерть — дверь, открывающаяся на вечность, сказала этой молодой женщине: «Не бойся! Я тебе докажу, что смерти нечего бояться — я пойду с тобой на смерть». И свободной волей она пошла в газовую камеру с группой этих осужденных женщин. «Свободной волей» в том смысле, что она не была включена в эту группу, но пошла вместе с этой молодой женщиной, которая перестала рыдать и успокоилась на основании уверенности, которую воплощала мать Мария.

Вот поступок. Вот свидетельство. Но это также деятельное предстательство в самом сильном смысле слова. И, несомненно, эта монахиня, которая отдавала свою жизнь после сложного и трагического жизненного пути, посвященного служению Единому Богу и служению людям, молилась на этом последнем пути. Она молилась, когда им приказали снять одежду, когда рядом с этой девушкой ждала смерть, куда та входила вместе с ней, рука об руку, в мире, который Господь ей ниспослал благодаря матери Марии.

Я настаиваю на этом аспекте предстательства, потому что в наше время молодым, да и не только молодым, людям представляется, что невозможно приносить молитву за других, не связанную никакой ответственностью и далекую от человеческой трагедии. И возможно, в определенной среде болезненно переживается понятие Евхаристии и ставятся вопросы по этому поводу.

Евхаристия — великий дар благодарения, который мы приносим Господу. Как можем мы предлагать его Богу, в то время как окружены ужасами нашего мира, его жестокостью, его грубостью, его безразличием, которое порой тяжелее переносить, чем грубость? Можем ли мы говорить: «Господи, благодарим Тебя за все! Благодарим Тебя не только за Твои явные благодеяния, но и за то, в чем мы не умеем уловить благотворную ценность»? Ведь это означает, что мы говорим: «Господи, мы Тебя благодарим за страдание, как и за радость, за смерть, как и за жизнь, за человеческую трагедию, как и за ее преображение».

Этим вопросом, возможно, многие верующие и не задаются, потому что погружены в своего рода безмятежное литургическое сознание. Но этот вопрос мне был поставлен студентами богословской школы в России со всей резкостью и определенностью, какие эти вопросы имеют там. Они говорили: «Мы не сомневаемся в законности такой молитвы, этой благодарности, но как ее обосновать, если нам будет поставлен этот вопрос? Потому что большая разница — чувствовать в своих глубинах правду какой-нибудь ситуации и уметь внешне выразить эту правду, дать хотя бы ощутить, если не сделать ее понятной другим». Я с тех пор задумывался над этим, и мне кажется, что даже из сердцевины самой ужасной трагедии мы можем продолжать возносить благодарственные молитвы Богу, но при условии, что верой, надеждой, любовью, превосходящей человеческую, такой любовью, которую нам подает Дух Святой, собственным опытом Царства Божия, пришедшего в силе, мы способны *видеть* одновременно теперешний ужас и его разрешение в будущем веке.

Если мы способны изнутри собственного опыта, а не просто по расплывчатому легковерию повторить слова, которые в книге Откровения произносят те, кто претерпел великую скорбь: *Ты был прав, Господи, во всех путях Твоих* (Откр 15:3), если мы можем произнести это совершенно честно, с полной уверенностью веры — потому что вера это прежде всего уверенность, — тогда мы можем совершать Божественную литургию, полную благодарения, можем приносить эту молитву. Но не иначе.

Но есть еще одно дополнительное условие: от нас требуется быть готовыми на ответственное соучастие. Мы способны на него, если по солидарности — действенной, реальной, а не только эмоциональной — соглашаемся встать ответственно в самой сердцевине конфликта, в самой глубине трагедии, там, где сильнее всего страдание и противостояние. Если мы там же, где Христос распятый, в Своем смертном борении будто оставленный Богом, переживает на кресте одиночество мира, отпавшего от Бога. Если мы не там и, однако, осмеливаемся благодарить Бога за все, что происходит в мире, за все, чему Он попустил случиться, мы подпадаем под суд мира, который нас осудит и отвергнет. Но мы подпадаем и под суд Божий, потому что Бог не остается вне трагедии сторонним наблюдателем: Он-то вступает в сердцевину трагедии.

Вспомните рассказ о буре на озере Геннисаретском (Мф 14:22—33), когда ученики увидели, как Христос идет по разъяренным волнам, среди бушующего ветра. Они вскричали от страха, потому что не поверили, что это может быть Бог. И, однако, когда Петр попросился идти к Нему, Христос позвал его, и Петр тоже смог идти по бушующим волнам. Только он вспомнил о себе — и начал тонуть.

Наше место — именно там, где Христос, в сердцевине трагедии, там, где самое яростное противоборство: где Сын Человеческий изнемогает, и где Сын Божий отвергнут, присужден к смерти человеком, потому что то, что Он говорит, человек принять не может по естеству. Если мы на этом месте, тогда наше предстательство может полностью слиться с предстательством Христа. Тогда мы становимся Церковью в полном смысле слова: сердцем Христа, присутствием Христа на протяжении истории, через время и пространство; мы становимся тем, чем призваны быть: храмами Святого Духа. Не только местом, где Дух Святой покоится, но местом, которое блистает Его присутствием и действием. Мы исполняем тогда свое христианское призвание: через нас, нами Бог присутствует и действует.

Но тогда встает проблема — проблема молитв предстательства, которые не могут быть ограничены нами, но должны вплестаться в полноту предстательства Христова. Наш отчаянный крик — это вопль человечества, но человечества еще не исцеленного и не преображенного: «Господи, помилуй! Пощади! Господи, не отяготи на нас руку Твою!» Это вопль, из-за которого мы, в каком-то смысле движимые земным, плотским состраданием и жалостью, говорим: Господи, *доколе?*

Здесь парадокс — парадокс Церкви, где мы одновременно *in patria* (в отечестве), в Царстве, уже пришедшем в силу, и *in via*, на пути к завершению, к исполнению всего, что составляет наше призвание.

В Церкви присутствует двойная реальность, сама Церковь является предметом веры, о чем говорится в Символе веры. Только верой мы познаем Церковь во всем ее размахе, в ее глубине, когда тварное вырастает в меру Божественную и Божественное начало — через воплощение Сына Божия — пронизывает все, вплоть до сердцевины истории и всей твари. В этом отношении наше предстательство есть и должно быть предстательством Христа. Но в другом отношении Церковь есть реальность историческая, общественная. Она — человеческое общество в становлении. Это имел в виду святой Ефрем Сирийский, когда говорил, что Церковь не есть собрание праведников, уже достигших святости, а толпа грешников на пути к спасению, покаянно сознающих свою греховность.

И в этом плане в Церкви присутствует человеческая хрупкость, и отзывчивость к страданию, и просто человеческий крик, зов, который Бог тем не менее принимает, потому что он выражает одновременно то, что мы — неотъемлемая часть вселенной и

солидарны со всем человечеством, и, вместе, он выражает меру любви, милосердия, милосердной любви, которой мы достигли. Это стенание, этот вопль может быть выражением, знаком того, что мы достигли всей доступной нам мудрости, которую Дух посылает в сердца тех, в ком Он обитает без ограничений, и уже выражает *воздыханиями неизреченными* (Рим 8:26), которым мы порой умеем придать лишь крайне недостаточную форму, призыв христианина: «Гряди, Господи! Господи, восстанови единство, гармонию, цельность, полноту Жизни! Это мои слова, но Ты, Господи, сокруши внешние формы моей молитвы, пусть останется только ее дух. Да будет воля Твоя». Но пусть я ее приму не пассивно, не так, как мы ее принимаем, поскольку не можем противиться воле Божией, но отзываясь вольной волей, потому что мы видим в воле Божией исполнение, полноту, поднимающуюся зарю, сияние вечной жизни, даруемой тем, в ком жив творческий дух. И тогда мы можем сказать: «Да, Господи, пусть свершится Твоя воля, потому что она благая и потому что это единственное, чего я желаю, к чему стремлюсь во всех моих исканиях, при всем моем несовершенстве, всех моих блужданиях».

Я надеюсь, что это свидетельство о предстательстве изнутри жизненных человеческих ситуаций нашего времени позволит остро, по-новому понять, что Бог всегда современен, что Бог никогда не остается в прошлом. Что и в наше время, в любых ситуациях, мы можем стоять перед Ним, никогда не теряя связи с современностью, но внося в нее новое измерение, которого не может дать ничто на земле. Только Бог может внести в него Свое измерение вечности, которое — и только оно — дает смысл и глубину тому, что иначе плоско, непрозрачно, тяжело и не может соединиться с Нетварным.

Вечерняя молитва³³⁸

Большинство из нас вступает в ночь покоя: мы отложим тяготу дня, усталость, тревоги, напряжение, озабоченность. Мы отложим все это на пороге ночи и войдем в забытие. В этом забытии мы беззащитны, в течение этих ночных часов Один Господь может покрыть нас Своим крылом. Он силен оградить наши сердца против того, что может подняться из наших еще не очищенных, не просвещенных, не освященных глубин. Он силен оградить наши мысли, наши сновидения, спасти наши тела.

Мы войдем в ночной покой, но прежде — вспомним тех, кто вступает в ночь, полную тревоги.

В больнице или в комнате больного есть люди, которые не уснут, потому что им больно, потому что им страшно, потому что они в тревоге за любимых, из которых одни несут вместе с ними бремя их болезни, а другие осиротеют с их смертью.

Есть люди в одиночестве тюрьмы, некоторые из них молоды, и где-то за стенами есть девушки, которых они любят, есть их дети, их товарищи, есть свобода, была надежда — а теперь ничего не осталось.

Есть и такие тюрьмы, где ночи ужасны, где сейчас начнутся допросы, они тянутся долгие часы в сердцевине ночи, кого-то будут бить, кто-то подвергнется пыткам. Они вернутся в свои камеры обессиленными и вступят в день, в котором им не будет отрады, один страх перед грядущей ночью. Сейчас над ними замыкается ночь, страх окутывает их тело, их душу.

Кроме того, есть во всех городах ночь шумная, ночь кабаков, ночь азартных игр, ночь пьяниц, ночь, в которой юноши и девушки потеряют чистоту, ночь, когда супруги, позабыв любовь, охваченные только желанием, будут грубы друг с другом.

Есть люди, которые потеряют честь и которым стыдно будет проснуться утром.

Есть и те, кто пользуется всем этим, кто спаивает, кто соблазняет, кто отравляет наркотиками, те, кто смеется демонским смехом, не понимая, что решается их вечная участь.

Тех — да сохранит Господь, но этих — да помилует Бог!

И есть в этой ночи те, кто будет предстоять перед Богом: мать у изголовья ребенка, жена возле умирающего супруга, есть все те, кто посвятят ночь молитве. Есть в ней мальчик, который в одиннадцать лет ушел из Москвы, сказав матери: «Бог зовет меня молиться в лесу», прошло уже пять лет, он один в лесной чаще, среди снегов лютой русской зимы.

И сколько, сколько других! В этой ночи не уснет врач, и сиделка будет бороться со сном. Есть целый мир жизни, и страдания, и надежды, и смерти... и радости, и Божественного присутствия, все это есть в этой ночи.

Прежде чем предаться отдыху, поблагодарим Бога за все, что Он нам посылает, и попросим, чтобы, пока мы, забывши все, будем спать, Он помнил страждущие тела — как больного, так и проститутки, ребенка и старика, заключенного, которого допрашивают, и того, кто его подвергает допросу, того, кто пользуется чужой слабостью, и того, кто сломлен в своей слабости, того, кто стоит перед Богом в своей пламенной борьбе между жизнью и смертью мира. Пусть Он помянет всех в Своем Царстве, и пусть придет мир, и прощение, и милость. Пусть самый ужас станет не концом, а новым началом. Пусть Тот, Кто перед лицом предательства познал предельный ужас в Гефсиманской ночи, вспомнит всех тех, для кого эта ночь не станет ночью покоя и отдыха. Пусть помянет Он и нас, ранимых и беззащитных: мы предаемся в Его руку с верой, и с надеждой, в радости о том, что в меру своих сил мы любим Его и что мы любимы Им вплоть до Креста и Воскресения. Аминь.